

Габриэль
Гарсиа Маркес



Нобелевская
премия

Невероятная и грустная история
о простодушной Эрендире
и ее жестокосердной бабушке

[рассказы]



Габриэль
Гарсиа Маркес

Невероятная и грустная история
о простодушной Эрендире
и ее жестокосердной бабушке

Астрель
Полиграфиздат
МОСКВА

УДК 821.134.2 (7/8)

ББК 84 (7Кол)

Г21

Gabriel García Márquez

LA INCREÍBLE Y TRISTE HISTORIA DE LA CÁNDIDA
ERÉNDIRA Y DE SU ABUELA DESALMADA

Перевод с испанского А. Борисовой, Э. Брагинской, Ю. Грейдинга

Серийное оформление А. Кудрявцева

Компьютерный дизайн Г. Смирновой

Печатается с разрешения Stars and Movies Copyright B.V.
и литературного агентства Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A.

Подписано в печать 28.12.11. Формат 84x108/32.

Усл. печ. л. 8,4. Тираж 15 000 экз. Заказ № СК 3878М.

Гарсиа Маркес, Г.

Г21 Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке: [рассказы: пер. с исп.] / Габриэль Гарсиа Маркес.—М.: Астрель: Полиграфиздат, 2012.—151, [9] с.

ISBN 978-5-271-39855-1

ISBN 978-5-4215-3203-3

Рассказы этого сборника относятся к «зрелому» периоду творчества великого латиноамериканского писателя, когда он уже достиг совершенства в прославившем его и ставшем его своеобразной «визитной карточкой» стиле магического реализма.

Магия или гротеск могут быть забавными — или пугающими, сюжеты — увлекательными или весьма условными.

Но чудесное или чудовищное неизменно становится частью реальности — таковы заданные писателем правила игры, которым с наслаждением следует читатель.

УДК 821.134.2 (7/8)

ББК 84 (7Кол)

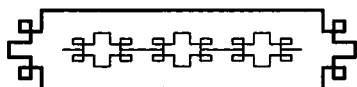
© Gabriel García Márquez, 1972

© Перевод. А. Борисова, 2011

Перевод. Э.Брагинская, наследники, 2011

Перевод. Ю. Грейдинг, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2012



Старый-престарый сеньор с преогромными крыльями

На третьи сутки непрерывного дождя в доме накопилось столько убитых крабов, что Пелайо пришлось пройти по затопленному двору к морю и выкинуть их, поскольку у новорожденного ночью была температура — опасались заражения чумой. Мир был печальным, начиная со вторника. Небо и море были сотворены из чего-то одинакового, напоминающего пепел, а песок на берегу, сверкавший в марте, будто растертый в порошок свет, превратился в какое-то варево из тины и гниющих моллюсков. В полдень дневной свет был так скуден, что когда Пелайо возвращался, выбросив крабов в море, ему большого труда стоило разглядеть, как что-то шевелится и стонет в глубине двора. Пришлось подойти совсем близко, и тогда он увидел какого-то старика, упавшего ничком в непролазную грязь, ко-

© Перевод. А. Борисова, 2011.

торый, несмотря на отчаянные усилия, не мог подняться — мешали огромные крылья.

Напуганный кошмарным видением Пелайо бросился на поиски Элисенды, жены, которая ставила больному ребенку компресс, и потащил ее в глубину двора. Оба рассматривали упавшее тело с молчаливым ужасом. Одет он был как старьевщик. Несколько бесцветных прядей едва прикрывали лысый череп, зубов почти не было, а жалкое положение размякшего старца лишало его всякого величия. Большие петушиные крылья, грязные и сильно облезшие, навсегда увязли в топкой грязи. Пелайо и Элисенда рассматривали его так тщательно и с таким вниманием, что вскоре оправились от изумления и даже обнаружили в нем что-то знакомое. Тогда, осмелев, они заговорили с ним, и он ответил на непонятном им языке, голосом, какой бывает у моряков. В конце концов, оставив без внимания крылья, они очень разумно заключили, что это кто-то потерпевший кораблекрушение, с какого-нибудь иностранного корабля, унесенного бурей.

Однако они позвали соседку, знавшую все о жизни и смерти, чтобы та взглянула на него, и ей достаточно было одного взгляда, чтобы избавить их от ошибки.

— Это ангел, — сказала она им. — Я уверена — он летел за ребенком, но бедняга так стар, что его сбило дождем.

На следующий день все знали, что Пелайо держит у себя ангела во плоти и крови. Вопреки утвержде-

нию мудрой соседки, что ангелы нынешних времен — это беглецы, спасшиеся после какого-то заговора на небесах, не хватало духу забить его палками. Целый вечер Пелайо сторожил его из кухни, вооружившись своей дубинкой альгвасила, а перед тем как лечь спать, волоком вытащил его из грязи и запер вместе с курами в проволочном курятнике. В полночь, когда кончился дождь, Пелайо и Элисенда все еще убивали крабов. Немного позже ребенок проснулся с нормальной температурой и захотел есть. Тогда на них напало великодушие, и они решили сделать ангелу плот, снабдить подслащенной водой и провизией на три дня и предоставить собственной судьбе в открытом море. Но когда с первыми лучами солнца они вышли во двор, то обнаружили около курятника всех своих соседей, которые, глядя на ангела, всячески развлекались без малейшего признака набожности и бросали ему кусочки еды сквозь отверстия проволочной сетки, будто это было не сверхъестественное существо, а какой-нибудь зверь в цирке.

Еще до семи прибыл отец Гонсага, встревоженный несуразной новостью. К этому времени появились любопытные, менее легкомысленные, чем те, что на рассвете, и стали строить самые разнообразные догадки относительно будущей судьбы пленника. Наиболее простодушные считали, что его нужно назначить алькальдом. Другие, более суровые духом, предполагали, что он получит пять генеральских звезд и выиграет все войны. Некоторые фантазеры рассчитывали, что он будет сохранен «на пле-

мя» для выведения на земле нового вида крылатых и мудрых людей, которые возьмут на себя все тяготы вселенной. Но отец Гонсага, до того как стать священником, был здоровенным лесорубом. Высунившись из-за проволочной изгороди, он с минуты повторял катехизис, а потом попросил открыть дверь, чтобы поближе рассмотреть сего достойного жалости мужа, более похожего на огромную дряхлую курицу среди всполошившихся кур. Забившись в угол, тот сушил на солнце распростертые крылья, а вокруг валялась кожа от фруктов и остатки завтраков, которые накидали ему полуночники. Чуждый всеобщему нахальству, он едва поднял глаза, похожие на глаза антиквара, и прошептал что-то на своем языке, когда отец Гонсага вошел в курятник и поздоровался с ним на латыни. Первый раз святого отца заподозрили в обмане, убедившись, что он не знает языка Бога и не умеет приветствовать Его посланцев. Он же, при ближайшем рассмотрении, обнаружил в посланце слишком много человеческого: от него непереносимо несло сыростью, крылья изнутри были облеплены водорослями, а маховые перья были истреplены земными ветрами, и ничто в его жалком облике не напоминало о присутствии ангелам достоинстве. Отец Гонсага вышел из курятника и обратился к любопытным с небольшой проповедью, предостерегая их от опасности простодушия. Он напомнил им, что дьявол имеет скверную привычку прибегать к маскарадным средствам, дабы смущать неосторожных. Он привел следующий до-

вод: если крылья не могут служить основным признаком определения разницы между ястребом и аэропланом, то еще меньше по ним можно распознать ангела. Однако он обещал написать письмо епископу, с тем чтобы тот написал еще более высокому лицу, которое, в свою очередь, написало бы папе римскому, и, таким образом, окончательный вердикт будет исходить от суда самого высочайшего.

Его благоразумие нашло отклик в простых сердцах. Весть о плененном ангеле распространилась с такой быстротой, что через несколько часов во дворе стало оживленно, как на рынке, и пришлось вызвать отряд карабинеров, чтобы утихомирить толпу, чуть не развалившую дом. У Элисенды спина не разгибалась — столько мусора приходилось выметать из-за этого столпотворения, и тогда ей пришла в голову дельная мысль обнести двор забором и собирать по пять сентаво за вход, чтобы посмотреть на ангела.

Пришли любопытные даже с Мартиники. Появился бродячий цирк с летающим акробатом, который несколько раз со свистом пролетел над толпой, но никто не обратил на него внимания, потому что крылья у него были не как у ангела, а как у летучей мыши в звездном небе. В надежде на исцеление пришли самые несчастные больные с берегов Карибского моря: бедная женщина, которая с детства считала удары своего сердца, а число их все не доходило до нужного; ямаец, который не мог спать, потому что ему мешало шуршание звезд; лунатик, который вставал посреди ночи и во сне разрушал то,

что сделал наяву, и многие другие — в менее тяжелом состоянии. Посреди всего этого беспорядочного нашествия, от которого дрожала земля, — Пелайо и Элисенда, усталые от счастья, потому что меньше чем за неделю они набили деньгами свои комнаты, а вереница паломников, ожидавших своей очереди войти, все тянулась до самого горизонта.

Ангел был единственным, не принимавшим участия в событиях, коих был причиной. Он то и дело переходил с места на место в своем временном гнезде, потому что у него кружилась голова от адской жары, распространяемой масляными лампами и жертвенными свечами, придвинутыми к проводочной сетке. Сначала его пытались кормить кристаллами камфары, которые, как утверждала мудрая соседка, были специальной пищей ангелов. Но он отказался и от них, и, даже не попробовав, от картошки, которую приносили ему исповедующиеся, и кончил тем, что стал есть только кашу из баклажанов — не то по старости, не то потому, что она-то и была пищей ангелов. Его единственным сверхъестественным достоинством, казалось, было терпение. Особенно поначалу, когда курицы клевали его, выискивая небесных насекомых, расплотившихся в его крыльях, а изможденные болезнями паломники выщипывали у него перья и прикладывали их к больным местам, наиболее же благочестивые из них бросали в него камешки, чтобы он встал, — посмотреть на него во весь рост. Только один раз его расшевелили, когда прижгли бок клеймом для молодых

бычков, поскольку он лежал без движения столько времени, что его сочли умершим. Вздрыгнув, он проснулся, что-то бормоча на неведомом языке, со слезами на глазах, и два раза взмахнул крыльями, подняв тучи желто-лунной пыли и куриного помета и вызвав такой приступ паники, какого раньше и на свете не было. Хотя многие решили, что его действия вызваны не гневом, а болью, все-таки с тех пор его остерегались беспокоить, потому что большинству стало ясно, что бездеятельность его — это не бездеятельность героя, удалившегося от дел, просто он отдыхает после пережитого потопа.

Отец Гонсага, в ожидании окончательного суждения о происхождении пленника, пытался противостоять нахальным выходкам толпы, увещевая ее с доморощенным вдохновением. Но письмо из Рима не обещало быстрого решения вопроса. Там тратили время на то, чтобы узнать, есть ли у пойманного пуп, не похож ли язык, на котором он говорит, на арамейский, может ли он несколько раз подряд упасть на булавочное острие, и вообще, может быть, это просто крылатый норвежец.

Эти осторожные письма ходили бы туда-сюда до окончания века, если бы вдруг само Провидение не вмешалось и не положило конец терзаниям преподобного отца.

Случилось так, что в эти самые дни один из многочисленных бродячих цирков, путешествующих по берегам Карибского моря, показывал в городке, среди прочего, очень грустное зрелище — женщину,

превратившуюся в паука из-за непослушания родителям. Мало того что плата за вход была меньше той, которую платили, чтобы посмотреть на ангела, — ей можно было задавать любые вопросы о невероятном превращении и рассматривать ее со всех сторон, чтобы уж никто не мог усомниться в подлинности кошмарного происшествия. Это был жуткий тарантул величиной с барана и с лицом грустной молодой девушки. Но самым душераздирающим был не ее нелепый вид, а неподдельная скорбь, с которой рассказывала она подробности своего несчастья: она была почти девочкой, когда однажды убежала из родительского дома на танцы, а когда, протанцевав без разрешения всю ночь, возвращалась лесом домой, небо вдруг со страшным грохотом разверзлось посередине и из этой трещины появилась серная молния, превратившая ее в паука. Единственной пищей девушки были катышки из мясного фарша, которые иные добрые души кидали ей прямо в рот. Подобное зрелище, полное такой жизненной правды и такой суровой морали, само того не ведая, отбило охоту смотреть на надменного ангела, едва достаивавшего взглядом простых смертных. Кроме того, те немногие чудеса, которые связывали с ангелом, производили определенный беспорядок в умах: например, слепой, к которому зрение не вернулось, зато у него выросли три новых зуба, или паралитик, который так и не стал ходить, но чуть было не выиграл в лотерею, или прокаженный, у которого на язвах выросли подсолнухи. Эти малоутешительные чуде-

са, больше похожие на насмешку, уже и так подорвали авторитет ангела, а женщина-паук окончательно свела его на нет. Вот так и получилось, что отец Гонсага навсегда избавился от бессонницы, а во дворе у Пелайо стало так безлюдно, как в те времена, когда три дня подряд лил дождь и крабы разгуливали по комнатам.

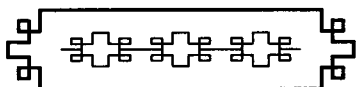
Хозяевам дома не на что было жаловаться. На собранные деньги они построили большой двухэтажный дом, с балконами и садом, сделали везде высокие пороги, чтобы зимой в дом не проникали крабы, а окна забрали железными решетками, чтобы не проникали ангелы. К тому же Пелайо устроил неподалеку от города крольчатник и напрочь отказался от должности альгвасила, а Элисенда купила лакированные туфельки на высоких каблуках и платья из переливчатого шелка, которые в те далекие времена надевали по воскресеньям дамы, вызывающие зависть. Единственное, на что не обращали внимания, был курятник. Если его иной раз мыли с карболкой и жгли в нем капельки мирры, так это не из уважения к ангелу, а чтобы из-за туч куриного помета не распространялась чумная зараза, бродившая везде, как призрак, и превращавшая новые дома в старые. Сначала, когда ребенок стал ходить, они остерегались подпускать его близко к курятнику. Потом постепенно забыли о страхе и по привычке к чуме, и к тому времени, когда у ребенка выпали молочные зубы, он всю игрушку играл в курятнике, проволока у которого сгнила и отваливалась кусками. Ангел

был с ним не более приветлив, чем с прочими смертными, однако выносил его самые изобретательные гнусности с кротостью собаки, давно лишившейся иллюзий. Оба одновременно перенесли ветрянку. Врач, лечивший ребенка, не устоял от соблазна осмотреть ангела и обнаружил у него такие шумы в сердце и такие камни в почках, что вообще было поразительно, почему он еще жив. Однако особенно его удивило, как растут крылья. Они были настолько естественны для этого вполне человеческого организма, что оставалось только удивляться, почему их нет у остальных людей.

К тому времени, когда ребенок пошел в школу, солнце и дожди окончательно завершили разрушение курятника. Ангел слонялся то здесь, то там, похожий на неприкаянного умирающего. Его выгоняли метлой из спальни, а через минуту видели в кухне. Казалось, он был одновременно в разных местах, так что начали уже подумывать, не раздваивается ли он, населяя двойниками весь дом, а выведенная из себя, раздраженная Элисенда кричала: «Какое несчастье — жить в этом аду, полном ангелов!» Он почти не мог есть, его глаза антиквара стали такими мутными и незрячими, что он натыкался на дверные косяки, а оставшиеся перья облезли до самых верхушек. Пелайо накинул ему на плечи одеяло и проявил доброту, позволив спать в сарае, и тогда только они заметили, что ночью у него поднялась температура и что он скороговоркой повторял что-то в бреду на старонорвежском языке. Это был тот редкий случай, когда они встревожились, потому что дума-

ли — он умрет, и даже мудрая соседка не знала, что делают с умершими ангелами.

Однако он не только пережил худшую свою зиму, но с первыми лучами солнца ему стало заметно лучше. Целыми днями он неподвижно сидел в самом отдаленном углу двора, где его никто не мог видеть, а в начале декабря на крыльях стали отрастать большие и крепкие перья, перья большой старой птицы, будто новая победа над старостью. Но он, должно быть, знал причину этих изменений, потому что тщательно охранял их от посторонних глаз, а иногда, когда никто не слышал, напевал при свете звезд песни моряков. Однажды утром, когда Элисенда нарезала к завтраку колечки лука, в кухню ворвался, будто в открытом море, порыв ветра. Тогда она выглянула в окно и с удивлением увидела ангела, пытавшегося взлететь. Попытки были так неловки, что он проделал крыльями, как плугом, борозды на грядках с овощами и чуть не развалил сарай, взмахивая своими несуразными крыльями, которые подскальзывались на солнечных лучах, не находя в воздухе опоры. Все-таки ему удалось набрать высоту. У Элисенды вырвался вздох облегчения, за себя и за него, когда она увидела, как он пролетает над последними домами, всеми способами удерживая себя в воздухе отчаянными взмахами крыльев старого ястреба. Она видела его, когда уже невозможно было видеть, потому что теперь он был уже не какой-то помехой в ее жизни, а воображаемой точкой на горизонте, уходящем в морскую даль.



Море исчезающих времен

В конце января море стало беспокойным, приносило в поселок множество мусора, и через несколько недель все было донельзя пропитано влагой. С этих пор все стало как-то ни к чему, по крайней мере до следующего декабря, и после восьми все уже засыпали. Но в тот год, когда появился сеньор Эрберт, море не изменилось даже в феврале. Наоборот, с каждым днем оно становилось все более тихим и сверкающим, а в первые ночи марта выдохнуло запах роз.

Тобиас услышал его. Его нежная кожа нравилась крабам, и большую часть ночи он проводил, отпугивая их от постели, до тех пор, пока не начинался бриз и ему не удавалось наконец заснуть. За долгие часы бессонницы он научился различать малейшие изменения, происходившие снаружи. Так что когда он услышал запах роз, ему не нужно было открывать дверь, чтобы убедиться — это запах с моря.

© Перевод. А. Борисова, 2011.

Встал он поздно. Клотильда разжигала огонь во дворе. Дул свежий бриз, и каждая звезда была на своем месте, однако над горизонтом их было бы трудно сосчитать — так светилась вода. Выпив кофе, он ощутил на небе привкус ночного запаха.

— Вчера вечером, — вспомнил он, — произошло нечто очень странное.

Клотильда, разумеется, ничего не заметила. Она спала так крепко, что даже не помнила своих снов.

— Запах роз, — сказал Тобиас, — и я уверен, он шел от моря.

— Уж не знаю, откуда здесь пахнуть розам, — сказала Клотильда.

Пожалуй, это было так. Земля в поселке была сухой и бесплодной, на четверть из селитры, и только иногда кто-нибудь привозил из других мест букет цветов, чтобы бросить его в море, в том месте, куда бросали умерших.

— Это тот самый запах, который шел от утопленника из Гуакамайяля, — сказал Тобиас.

— Вот как, — улыбнулась Клотильда, — если это приятный запах, можешь быть уверен — он не от этого моря.

Это и в самом деле было жестокое море. Бывало, что сетями вылавливали только жидкую грязь, а во время отлива улицы поселка сплошь были усеяны дохлой рыбой. От динамита же на поверхности появлялись только остатки былых кораблекрушений. Те немногие женщины, которые еще были в поселке, как и Клотильда, всегда раздражались, когда стряпали. И так же, как она, жена старого Хакоба, встав-

шая в то утро раньше обычного, начала убирать в доме, а завтракать села с враждебным лицом.

— Мое последнее желание, — сказала она мужу, — чтобы меня похоронили живой.

Она сказала это, будто лежала на смертном одре, хотя сидела за столом, в комнате с большими окнами, сквозь которые струилось и разливалось по всему дому мартовское солнце. Напротив нее, голодный больше обычного, сидел старый Хакоб, человек, любивший ее так сильно и так давно, что не понимал ничьих страданий, если только речь шла не о его жене.

— Я хочу умереть будучи уверенной, что меня похоронят в земле, как всех честных людей, — продолжала она. — Единственный способ это знать — идти куда-нибудь и умолять о милости похоронить меня живой.

— Не нужно тебе никого умолять, — сказал старый Хакоб с обычным спокойствием. — Я сам с тобой пойду.

— Тогда идем, — сказала она, — потому что я умру очень скоро.

Старый Хакоб пристально посмотрел на нее. Только глаза у нее оставались молодыми. Суставы обтянуты кожей, и вся она такая же, как эта пустынная земля — с давних времен и всегда.

— Сегодня ты выглядишь хорошо, как никогда, — сказал он ей.

— Вчера вечером, — вздохнула она, — я слышала запах роз.

— Не волнуйся, — успокоил ее старый Хакоб. — С бедняками это случается.

— Дело не в этом, — сказала она. — Я всегда молилась о том, чтобы меня заблаговременно предупредили о смерти — хотела успеть умереть подальше от этого моря. Запах роз в этом поселке — не что иное, как предупреждение Бога.

Старому Хакобу не оставалось ничего другого, как попросить ее о небольшой отсрочке для улаживания кое-каких дел. Когда-то он слышал, что люди умирают не когда нужно, а когда хотят, и его всерьез обеспокоили предсказания жены. Он даже спросил себя: если ее час настал, может, и правда лучше похоронить ее живой?

В девять он открыл комнату, где раньше была лавка. Поставил у входа два стула и столик с доской для шашек и все утро играл со случайными партнерами. Со своего места ему виден был развалившийся поселок, облупившиеся дома с проглядывавшей кое-где прежней краской, изъеденной солнцем, и кусочек моря — там, где кончалась улица.

До обеда он, как всегда, играл с доном Максимо Гомесом. Старый Хакоб не мог представить себе более человеческого противника, чем этот, прошедший невредимым две гражданские войны и только в третьей потерявший один глаз. Нарочно проиграв ему одну партию, он уговорил его сыграть вторую.

— Вот скажите мне, дон Максимо, — спросил он, — вы бы смогли похоронить живой свою жену?

— Наверняка, — сказал дон Максимо Гомес. — Поверьте: и рука бы не дрогнула.

Старый Хакоб удивленно промолчал. Потом, нарочно отдав свои лучшие фигуры, вздохнул:

— Это я к тому, что Петра вроде собралась умирать.

Выражение лица дона Максимо не изменилось. «В таком случае, — сказал он, — нет необходимости хоронить ее живой». Он «съел» две фигуры и вывел одну в дамки. После этого устремил на партнера единственный глаз, увлажненный грустной слезой.

— А что с ней такое?

— Вчера вечером, — объяснил старый Хакоб, — она слышала запах роз.

— Тогда должно перемереть полпоселка, — сказал дон Максимо Гомес. — Сегодня утром все только об этом и говорят.

Старый Хакоб приложил много усилий, чтобы снова проиграть, не обидев его. Он убрал стол и оба стула, закрыл лавку и отправился искать кого-нибудь, кто слышал запах роз. Но только Тобиас мог подтвердить это с уверенностью. Так что старый Хакоб попросил его зайти к ним, сделав вид, будто просто шел мимо, и все рассказать его жене.

Тобиас согласился. В четыре часа, приведя себя в порядок, как и полагается идя в гости, он появился на внутренней галерее, где жена целый день трудилась, приготавливая старому Хакобу одежду для траура.

Он вошел так тихо, что женщина вздрогнула.

— Боже милостивый, — вскрикнула она, — я уж думала — это архангел Гавриил.

— А теперь видите, что нет, — сказал Тобиас. — Это я, пришел рассказать вам одну вещь.

Она поправила очки и снова принялась за работу.

— Знаю я, что это за вещь, — сказала она.

— А если нет? — сказал Тобиас.

— Вчера вечером ты слышал запах роз.

— Откуда вы знаете? — спросил Тобиас, растерявшись.

— В моем возрасте, — сказала женщина, — столько времени тратишь на размышления, что в конце концов становишься ясновидящей.

Старый Хакоб, приложивший ухо к перегородке в комнатке позади лавки, выпрямился, пристыженный.

— Что скажешь, жена? — крикнул он из-за перегородки. Он обошел вокруг и появился на галерее. — Значит, это не то, что ты думала.

— Этот парень все выдумал, — сказала она, не поднимая головы. — Ничего он не слышал.

— Было около одиннадцати, — сказал Тобиас, — я отгонял крабов.

Женщина кончила зашивать воротник.

— Выдумки, — повторила она. — Все знают, что ты лгун. — Она откусила нитку и посмотрела на Тобиаса поверх очков. — Одного я не понимаю: так старался — ботинки почистил, волосы на помадил, и все это для того, чтобы прийти и показать, что не очень-то ты меня уважаешь.

С этого дня Тобиас начал следить за морем. Он повесил гамак на галерее, во дворе, и ждал ночи

напролет, с удивлением прислушиваясь к тому, что происходит в мире, когда все спят. Много ночей подряд он слышал, как отчаянно царапаются крабы, пытаясь залезть в гамак по опорам, столько ночей, пока они сами не устали от своих попыток. Теперь он знал, как спит Клотильда. Оказывается, она издавала свист, похожий на звук флейты, который становился тоньше по мере нарастания жары и наконец тихо звучал на одной ноте в тяжелом июльском сне.

Сначала Тобиас следил за морем, как это делают те, кто хорошо его знает, — глядя в одну точку на горизонте. Он видел, как оно меняет цвет. Видел, как оно тускнеет, становится пенным и грязным, и как выплевывает горы отбросов, когда сильные дожди переворачивают его расходящиеся кишки. Мало-помалу он научился следить за ним, как это делают те, кто знает его лучше, — может быть, не глядят на него, но не забывают, какое оно, даже во сне.

В августе умерла жена старого Хакоба. На рассвете ее нашли мертвой и, как всех умерших, бросили в море без цветов. А Тобиас все ждал. Он так ждал, что ожидание стало его жизнью. Однажды ночью, когда он дремал в гамаке, ему почудилось, как что-то в воздухе изменилось. То появлялся, то исчезал какой-то запах, как в те времена, когда японское судно вывалило рядом с поселком груз с гнилым луком. Потом запах устоялся, и до рассвета ничего не менялось. И только когда стало казаться, что его можно взять в руки, чтобы кому-то показать,

Тобиас вылез из гамака и пошел в комнату Клотильды. Он встряхнул ее несколько раз.

— Вот он, — сказал он ей.

Клотильде пришлось пальцами снять с себя запах, как паутину, чтобы приподняться. Потом она снова упала на мягкую простыню.

— Будь он проклят, — сказала она.

Тобиас одним прыжком достиг двери, выбежал на середину улицы и закричал. Он кричал изо всех сил, потом перевел дух и снова закричал, подождал немного и глубоко вздохнул — запах над морем не исчезал. Но никто не отозвался. Тогда он стал стучаться во все дома, даже в те, где никто не жил, пока в этом переполохе не приняли участие собаки и он не перебудил всех.

Многие ничего не чувствовали. Зато другие, особенно старики, шли на берег, чтобы вдыхать его. На рассвете запах был так чист, что жалко было дышать.

Тобиас спал почти целый день. Клотильда добралась до него только во время сиесты, и целый вечер они резвились в постели, открыв дверь во двор. Они то сплетались, как черви, то были похожи на двух кроликов или на двух черепах, пока не начало смеркаться и мир не потускнел. В воздухе еще пахло розами. Иногда в комнату долетали звуки музыки.

— Это у Катарина, — сказала Клотильда. — Должно быть, кто-нибудь пришел.

Пришли трое мужчин и одна женщина. Катарина подумал, что попозже могут прийти еще, и решил

наладить радиолу. Поскольку сам он не мог, то попросил об одолжении Панчо Апаресидо, который мог все, что угодно, потому что ему всегда было нечего делать, а кроме того, у него был ящик с инструментами и умные руки.

Лавка Катарино была в деревянном доме, стоявшем поодаль, у самого моря. В ней была большая комната со стульями и столиками и несколько комнат в глубине. Пока разглядывали работу Панчо Апаресидо, трое мужчин и женщина молча пили, сидя за стойкой, и по очереди зевали.

Радиола действовала безотказно, сколько ни пробовали. Услышав музыку, далекую, но ясную, люди умолкали. Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать, и только тут понимали, как состарились с тех пор, когда последний раз слышали музыку.

Тобиас обнаружил, что после девяти еще никто не спал. Все сидели у дверей и слушали старые пластинки Катарино с детской покорностью неизбежному, с какой созерцают солнечное затмение. Каждая пластинка будто говорила, что ты давно уже умер, или о чем-то, что нужно было вот-вот сделать, но чего никогда не делали по забывчивости, — это было как ощущать вкус пищи после продолжительной болезни.

Музыка кончилась в одиннадцать. Многие легли спать, опасаясь дождя, потому что над морем появилась темная туча. Но туча опустилась, подержалась немного на поверхности, а потом растворилась в воде. Наверху остались только звезды. Немного

позже ветер, дувший от поселка к морю, принес, возвращаясь обратно, запах роз.

— Я же говорил вам, Хакоб, — воскликнул дон Максимо Гомес. — Опять он здесь. Уверен — теперь мы будем слышать его каждую ночь.

— Бог этого не допустит, — сказал старый Хакоб. — Этот запах — единственное, что пришло ко мне в жизни слишком поздно.

Они сидели в пустой лавке и играли в шашки, не обращая внимания на музыку. Их воспоминания были такими древними, что не было пластинок достаточно старых, которые могли бы их воскресить.

— Я-то со своей стороны не очень верю во все это, — сказал дон Максимо Гомес. — Если столько лет жить, питаюсь голой землей, с женщинами, мечтающими каждая о маленьком дворике, где она могла бы посадить цветы, ничего странного не будет, если в конце концов начнешь и не такое чувствовать и поверишь, что все это на самом деле.

— Да, но мы чувствуем это собственным носом, — сказал старый Хакоб.

— Это не важно, — сказал дон Максимо Гомес. — Во время войны, когда революция уже потерпела поражение, нам так хотелось иметь командира, что нам явился герцог Мальборо, во плоти и крови. Я видел его собственными глазами, Хакоб.

Было уже за полночь. Оставшись один, старый Хакоб закрыл лавку и перенес лампу в спальню. В квадрате окна, которое вырисовывалось на фоне светящегося моря, он видел скалу, откуда бросали умерших.

— Петра, — тихо позвал он.

Она не слышала его. В эту минуту она плыла, будто водяной цветок, в сверкающем полдне Бенгальского залива. Она подняла голову, чтобы видеть сквозь воду, как через освещенный витраж, огромную Атлантику. Но она не видела своего мужа, который в этот момент снова услышал, с другого конца света, радиолу Катарино.

— Ты подумай, — сказал старый Хакоб. — Еще и полгода не прошло с тех пор, как все решили, что ты сумасшедшая, а теперь сами радуются этому запаху, принесшему тебе смерть.

Он погасил лампу и лег в постель. Он плакал тихо, не находя облегчения, хныча по-стариковски, но скоро заснул.

— Я уехал бы отсюда, если б мог, — всхлипывал он во сне, — уехал бы к чертовой матери, если бы имел хоть двадцать песо.

С этой ночи в течение еще нескольких недель запах с моря не исчезал. Им пропитались деревянные дома, продукты и питьевая вода, и не было места, где бы он не был слышен. Многие боялись обнаружить его в испарении собственных испражнений. Те мужчины и женщина, что пришли в лавку Катарино, в четверг ушли, но вернулись в субботу с целой толпой. В воскресенье пришли еще люди. Они кишели везде, где только можно, в поисках еды и ночлега, так что стало невозможно пройти по улице.

Приходили еще и еще. В лавку Катарино вернулись женщины, покинувшие поселок, когда оттуда

ушла жизнь. Они стали еще толще и еще размалеваннее и принесли с собой модные пластинки, никому и ничего не напоминавшие. Пришел кое-кто из прежних жителей поселка. Они уходили, чтобы в других местах набить карманы деньгами, и, вернувшись, рассказывали о своей удаче, но одеты они были в то же, в чем когда-то уходили. Появились музыканты и лотереи, где выигрывали и деньги и вещи, пришли предсказатели судьбы, и наемные убийцы, и люди с живой змеей на шее, продававшие эликсир бессмертия. Они все приходили и приходили, в течение нескольких недель, даже когда начались дожди и море стало беспокойным, а запах исчез.

Одним из последних пришел священник. Он появлялся всюду, ел хлеб, обмакивая его в кофе с молоком, и мало-помалу стал запрещать все, что появилось до него: и лотереи, и новую музыку, и как под нее танцуют, и даже недавний обычай спать на берегу. Однажды вечером, в доме Мельчора, он произнес проповедь о запахе с моря.

— Возблагодарим же небеса, дети мои, — сказал он, — потому что это запах, посланный Богом.

Кто-то перебил его:

— А как можно это узнать, святой отец, если раньше его никто не слышал?

— В Священном Писании, — сказал он, — ясно сказано об этом запахе. Поселок этот — избранное место.

Тобиас, как сомнамбула, ходил туда-сюда среди всеобщего празднества. Он принес Клотильде день-

ги, чтобы она знала, какие они. Они представляли себе, как выиграют в рулетку кучу денег, потом произвели подсчеты и почувствовали себя несказанно богатыми с той суммой, которую могли бы выиграть. Но однажды вечером не только они, но и огромная толпа, заполнившая поселок, увидели гораздо больше денег сразу, чем когда-либо могли себе представить.

Это было в тот вечер, когда пришел сеньор Эрберт. Он появился неожиданно, поставил посреди улицы стол и водрузил на него два больших баула, доверху набитые банкнотами. Денег было столько, что вначале на них никто не обратил внимания, — невозможно было поверить, что все это на самом деле. Но когда сеньор Эрберт зазвонил в колокольчик, ему наконец поверили и стали подходить ближе — послушать.

— Я самый богатый человек на свете, — сказал он. — Денег у меня столько, что я не знаю, куда их складывать. Но кроме того, сердце мое так велико, что не вмещается в груди, поэтому я принял решение идти по свету и разрешать проблемы рода человеческого.

Он был крупный и краснолицый. Говорил громко и без пауз, жестикулируя мягкими, вялыми руками, производившими впечатление только что выбритых. Он говорил в течение четверти часа, потом передохнул. Потом снова позвонил в колокольчик и снова заговорил. Посредине речи кто-то из собравшихся перебил его, помахав шляпой:

— Да хватит, мистер, кончайте говорить и начинайте раздавать деньги.

— Но не так же, — ответил сеньор Эрберт. — Раздавать деньги ни с того ни с сего — совершенно бессмысленно, не говоря уже о том, что это несправедливо.

Он задержал взгляд на говорившем и поманил его пальцем. Толпа расступилась.

— Все будет иначе, — продолжал сеньор Эрберт, — с помощью нашего нетерпеливого друга мы продемонстрируем сейчас наиболее справедливый способ распределения богатств. Как тебя зовут?

— Патрисио.

— Прекрасно, Патрисио, — сказал сеньор Эрберт. — Как у всех, у тебя наверняка есть проблема, которую ты никак не можешь разрешить.

Патрисио снял шляпу и кивнул.

— Какая же?

— Проблема у меня такая, — сказал Патрисио, — денег нет.

— И сколько тебе нужно?

— Сорок восемь песо.

Сеньор Эрберт издал торжествующий возглас. «Сорок восемь песо», — повторил он. Толпа одобрительно зашумела.

— Прекрасно, Патрисио, — продолжал сеньор Эрберт. — А теперь скажи нам: что ты умеешь делать?

— Много чего.

— Выбери что-нибудь одно, — сказал сеньор Эрберт. — То, что умеешь лучше всего.

— Ладно, — сказал Патрисио. — Я умею подражать пению птиц.

Снова послышался одобрительный шум, и сеньор Эрберт обратился к собравшимся:

— А теперь, сеньоры, наш друг Патрисио, который великолепно подражает пению птиц, изобразит нам пение сорока восьми разных птиц и таким образом решит величайшую проблему своей жизни.

И тогда Патрисио, перед удивленно притихшей толпой, начал имитировать пение птиц. То свистом, то клетотом он изобразил всех известных птиц, а чтобы набрать нужное число — и таких, которых никто не мог узнать. Наконец сеньор Эрберт попросил собравшихся поплодировать и отдал ему сорок восемь песо.

— А сейчас, — сказал он, — подходите один за другим. До этого же часа завтрашнего дня я буду здесь, чтобы разрешать проблемы.

Старый Хакоб узнавал о происходящей суматохе из разговоров проходивших мимо людей. От всякого нового сообщения сердце у него распирало, каждый раз все больше и больше, пока он не почувствовал, что оно вот-вот разорвется.

— Что вы думаете об этом гринго? — спросил он.

Дон Максимо Гомес пожал плечами:

— Может быть, он филантроп.

— Если бы я умел что-нибудь делать, — сказал старый Хакоб, — я тоже мог бы решить свою маленькую проблему. У меня ведь и вовсе ерунда: двадцать песо.

— Вы отлично играете в шашки, — сказал дон Максимо Гомес.

Старый Хакоб, казалось, не обратил внимания. Но, оставшись один, завернул в газету игральную доску и коробку с шашками и отправился на поединок с сеньором Эрбертом. Он ждал своей очереди до полуночи. Наконец сеньор Эрберт нагрузился своими баулами и попрощался до следующего утра.

Он не пошел спать. Он появился в лавке Катарино, в сопровождении мужчин, которые несли его баулы, а за ним все шла толпа со своими проблемами. Он решал их одну за другой и решил столько, что в конце концов остались только женщины и несколько мужчин, чьи проблемы были еще не решены. В глубине комнаты одинокая женщина медленно обмахивалась популярной брошюрой.

— А ты, — крикнул ей сеньор Эрберт, — у тебя что за проблема?

Женщина перестала обмахиваться.

— Я не участвую в этом празднике, мистер, — крикнула она через всю комнату. — У меня нет никаких проблем, я проститутка и получаю свое от всяких калек.

Сеньор Эрберт пожал плечами. Он пил холодное пиво — рядом со своими баулами — в ожидании новых проблем. Он вспотел.

Немного позже одна женщина отделилась от сидевшей за столиком компании и тихо заговорила с ним. У нее была проблема в пятьсот песо.

— А ты за сколько идешь? — спросил ее сеньор Эрберт.

— За пять.

— Скажи пожалуйста, — сказал сеньор Эрберт. — Сто мужчин.

— Это ничего, — сказала она. — Если я достану эти деньги, это будут последние сто мужчин в моей жизни.

Он окинул ее взглядом. Она была очень юной, хрупкого сложения, но в глазах была твердая решимость.

— Ладно, — сказал сеньор Эрберт. — Иди в комнату, а я буду тебе их присылать, каждого за пять песо.

Он вышел на улицу и стал звонить в колокольчик. В семь часов утра Тобиас увидел, что лавка Катарина открыта. Все было тихо. Полусонный, отекавший от пива сеньор Эрберт следил за поступлением мужчин в комнату девушки.

Тобиас тоже вошел. Девушка узнала его и удивилась, увидев в комнате.

— И ты тоже?

— Мне сказали, чтобы я вошел, — сказал Тобиас. — Мне дали пять песо и сказали — не задерживайся.

Она сняла с постели мокрую от пота простыню и подала Тобиасу другой конец. Она была тяжелой, будто из дерева. Они стали выжимать ее, выкручивая с обоих концов, пока она не приобрела свой нормальный вес. Перевернули матрас, чтобы теперь на-

мокала от пота другая сторона. Тобиас проделал все, что только мог. Перед тем как уйти, он добавил пять песо к растущей горке бумажек рядом с постелью.

— Присылай всех, кого увидишь, — наказал ему сеньор Эрберт, — посмотрим, справимся ли мы с этим до полудня.

Девушка приоткрыла дверь и попросила холодного пива. Там еще ждали несколько мужчин.

— Сколько еще? — спросила она.

— Шестьдесят три, — ответил сеньор Эрберт.

Старый Хакоб весь день преследовал его со своей игровой доской. К вечеру его очередь подошла, он изложил свою проблему, и сеньор Эрберт принял его предложение. Они поставили два стула и столик прямо на большой стол, посреди заполненной людьми улицы, и старый Хакоб начал партию. Это был последний ход, который он мог заранее обдумать. Он проиграл.

— Сорок песо, — сказал сеньор Эрберт, — и я даю вам преимущество в две шашки.

Он снова выиграл. Руки его едва прикасались к фигурам. Он целиком уходил в игру, предугадывая позицию противника, и всегда выигрывал. Собравшиеся устали на них смотреть. Когда старый Хакоб решил сдаться, он был должен пять тысяч семьсот сорок два песо и двадцать три сентаво.

Он не пал духом. Записал цифру на бумажке и спрятал ее в карман. Потом сложил игральную доску, положил шашки в коробку и завернул все в газету.

— Делайте со мной что хотите, — сказал он, — но это оставьте мне. Обещаю вам играть весь остаток моей жизни, чтобы набрать эти деньги.

Сеньор Эрберт посмотрел на часы.

— От души сочувствую, — сказал он. — Срок истекает через двадцать минут. — Он подождал и убедился, что противник ничего не придумал. — Больше у вас ничего нет?

— Честь.

— Я хочу сказать, — объяснил сеньор Эрберт, — чего-то, что меняет цвет, если сверху пройтись кистью, вымазанной краской.

— Дом, — сказал старый Хакоб так, будто отгадал загадку. — Он, правда, ничего не стоит, но это все-таки дом.

Так и получилось, что сеньор Эрберт получил дом старого Хакоба. Он получил также дома и имущество всех тех, кто не смог выполнить условия, но зато устроил целую неделю музыки, фейерверков, циркачей-канатоходцев и сам руководил праздником.

Это была памятная неделя. Сеньор Эрберт говорил о чудесной судьбе поселка, нарисовал даже город будущего с огромными стеклянными зданиями, на плоских крышах которых будут танцевальные площадки. Он показал его собравшимся. Они удивлялись, пытаясь найти себя в ярко раскрашенных сеньором Эрбертом прохожих, но те были так хорошо одеты, что узнать их было невозможно. От такой нагрузки у них заболело сердце. Они смея-

лись над своими слезами, которые проливали в октябре, и жили в тумане надежды до того дня, когда сеньор Эрберт позвонил в колокольчик и объявил об окончании праздника. Только тогда он решил отдохнуть.

— Вы умрете от такой жизни, какую ведете сейчас, — сказал старый Хакоб.

— У меня столько денег, — сказал сеньор Эрберт, — что нет причин умирать.

Он повалился на постель. Он спал дни и ночи, храпя, как лев, и прошло столько дней, что люди устали ждать. Им пришлось откапывать крабов и есть их. Новые пластинки Катарина стали такими старыми, что никто не мог слушать их без слез, — пришлось закрыть лавку.

Много времени спустя, как заснул сеньор Эрберт, в дом старого Хакоба постучался священник. Дверь была заперта изнутри. Спящий при дыхании тратил так много воздуха, что некоторые предметы, став легче, начали парить над землей.

— Я хочу с ним поговорить, — сказал священник.

— Надо подождать, — сказал старый Хакоб.

— У меня нет столько времени.

— Садитесь, святой отец, и ждите, — повторил старый Хакоб. — А пока сделайте одолжение — поговорите со мной. Я уже давно ничего не знаю о мире.

— Люди разбегаются. Очень скоро поселок станет таким же, как раньше. Вот и все новости.

— Вернутся, — сказал старый Хакоб, — когда море вернет запах роз.

— Пока что надо как-то сохранить иллюзии у тех, у кого они еще остались, — сказал священник. — Надо как можно скорее начать строительство церкви.

— Поэтому вы и пришли к мистеру Эрберту, — сказал старый Хакоб.

— Именно так, — сказал священник. — Гринго очень добры.

— Тогда ждите, святой отец, — сказал старый Хакоб. — Может, все-таки проснется.

Они стали играть в шашки. Это была долгая и трудная партия, они играли много дней, но сеньор Эрберт не проснулся.

Святой отец в конце концов пришел в отчаяние. Он везде бродил с медной тарелочкой для сбора пожертвований на строительство церкви, но того, что он раздобыл, было очень мало. От всех этих умоляний и упрасиваний он делался все более прозрачным, кости его начали стучать друг о друга, и однажды в воскресенье он приподнялся над землей на две кварталы, но об этом никто не узнал. Тогда он сложил одежду в чемодан, в другой — собранные деньги и распрощался навсегда.

— Запах не вернется, — сказал он тем, кто пытался его отговорить. — Нельзя закрывать глаза на очевидное — поселок погряз в смертном грехе.

Когда сеньор Эрберт проснулся, поселок был таким же, как раньше. Дождь месил грязь, изгнавшую людей с улиц, земля снова стала бесплодной и черствой, будто из кирпича.

— Долго же я спал, — зевнул сеньор Эрберт.

— Вечность, — сказал старый Хакоб.

— Я умираю от голода.

— Все остальные тоже, — сказал старый Хакоб. —

Только и осталось — идти на берег и выкапывать крабов.

Тобиас нашел сеньора Эрберта ползающим по песку с пеной на губах и удивился, как голодные богачи похожи на бедняков. Сеньор Эрберт не мог найти подходящих крабов. Под вечер он предложил Тобиасу поискать что-нибудь поесть на дне моря.

— Что вы, — попытался предостеречь его Тобиас, — только мертвые знают, что там внизу.

— Ученые тоже знают, — сказал сеньор Эрберт. — Там, где кончается море кораблекрушений, внизу, под ним живут черепахи с очень вкусным мясом. Раздевайся и пойдем.

И они пошли. Отплыли от берега, потом ушли в глубину, все дальше и дальше, где сначала исчез свет солнца, потом моря и все светилось только своим собственным светом. Они проплыли мимо затонувшего поселка, где мужчины и женщины верхом на лошадях кружились вокруг музыкального киоска. День был прекрасный, и на террасах цвели яркие цветы.

— Он опустился на дно в воскресенье, около одиннадцати утра, — сказал сеньор Эрберт. — Должно быть, был потоп.

Тобиас поплыл к поселку, но сеньор Эрберт знаком показал ему следовать за ним в глубину.

— Там розы, — сказал Тобиас. — Я хочу, чтобы Клотильда увидела их.

— В другой раз вернешься со спокойной душой, — сказал сеньор Эрберт. — А сейчас я умираю от голода.

Он опускался как осьминог, таинственно шевеля длинными руками. Тобиас, изо всех сил старавшийся не терять его из виду, подумал: должно быть, так плавают все богатые. Постепенно они прошли море многолюдных катастроф и вошли в море мертвых.

Их было так много, что Тобиас подумал — он никогда не видел сразу столько живых людей. Они плыли не шевелясь, лицом кверху, один над другим, и вид у них был какой-то забытый.

— Это очень древние мертвецы, — сказал сеньор Эрберт. — Нужны века, чтобы достичь такого успокоения.

Пониже, там, где были недавно умершие, сеньор Эрберт остановился. Тобиас догнал его в тот момент, когда мимо них проплывала очень юная женщина. Она лежала на боку, глаза у нее были открыты, и за ней струился поток цветов.

Сеньор Эрберт приложил палец ко рту и так и застыл, пока не прошли последние цветы.

— Это самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни, — сказал он.

— Это жена старого Хакоба, — сказал Тобиас. — Здесь она лет на пятьдесят моложе, но это она. Уверен.

— Много она обошла, — сказал сеньор Эрберт. — За ней тянется флора всех морей мира.

Они достигли дна. Сеньор Эрберт несколько раз повернул, идя по дну, похожему на рифленый шифер. Тобиас шел за ним. Только когда глаза привыкли к полумраку глубины, он увидел, что там были черепахи. Тысячи — распластанных на дне и таких же неподвижных, что они казались окаменелыми.

— Они живые, — сказал сеньор Эрберт, — но они спят уже миллионы лет.

Он перевернул одну. Тихонько подтолкнул ее кверху, и спящее животное, скользя из рук, стало подниматься по неровной линии. Тобиас дал ей уплыть. Он только посмотрел туда, где была поверхность, и увидел всю толщу моря, но с другой стороны.

— Похоже на сон, — сказал он.

— Для твоего же собственного блага, — сказал сеньор Эрберт, — никому об этом не рассказывай. Представь себе, что за беспорядок люди учинят в мире, если узнают об этом.

Была почти полночь, когда они вернулись в поселок. Разбудили Клотильду, чтобы она вскипятила воду. Сеньор Эрберт свернул черепахе голову, но когда ее разделявали, всем троим пришлось догнать и отдельно убить сердце, потому что оно выскочило и запрыгало по двору. Наелись так, что не могли вздохнуть.

— Что ж, Тобиас, — сказал сеньор Эрберт, — обратимся к реальности.

— Согласен.

— А реальность такова, — продолжал сеньор Эрберт, — что этот запах никогда больше не вернется.

— Вернется.

— Нет, не вернется, — вмешалась Клотильда, — как и все другое, потому что его никогда и не было. Это ты всех взбаламутил.

— Но ведь ты сама его слышала, — сказал Тобиас.

— Я в ту ночь была как оглушенная, — сказала Клотильда. — А сейчас я ничему не верю, что бы там ни происходило с этим морем.

— Так что я ухожу, — сказал сеньор Эрберт. И добавил, обращаясь к обоим: — Вам тоже нужно уходить. На свете слишком много дел, чтобы сидеть в этом поселке и голодать.

Он ушел. Тобиас остался во дворе считать звезды и обнаружил, что их стало на три больше, чем в прошлом декабре. Клотильда позвала его в комнату, но он не обратил на нее внимания.

— Да иди же сюда, чудовище, — все звала его Клотильда. — Уже целую вечность мы ничего такого не делали.

Тобиас ждал еще долго. Когда наконец вошел, она, отвернувшись, спала. Он разбудил ее, но был таким усталым, что оба как-то все скомкали и напоследок только и могли сплетаться, как два червя.

— Ты совсем отупел, — сказала Клотильда недовольно. — Попытайся подумать о чем-нибудь другом.

— А я и думаю о другом.

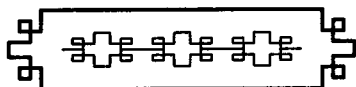
Ей захотелось знать, о чем, и он решил рассказать ей при условии, что она никому не скажет. Клотильда обещала.

— На дне моря, — сказал Тобиас, — есть поселок из белых домиков с миллионами цветов на террасах.

Клотильда обхватила голову руками.

— Ах, Тобиас, — запричитала она. — Ах, Тобиас, ради всего святого, не начинай ты снова все это.

Тобиас умолк. Он подвинулся на край постели и попытался уснуть. Ему не удавалось это до самого рассвета, пока не подул бриз и крабы не оставили его в покое.



Самый красивый утопленник в мире

Дети, которые первыми увидели темную безмолвную громаду, подплывавшую по морю, вообразили, будто это неприятельский корабль. Потом заметили, что на нем нет флагов и мачт, и подумали, что это кит. Только когда его выбросило на берег, убрали с него водоросли, наросты медуз и следы кораблекрушений, они поняли, что это утопленник.

Весь день играли с ним на песке, закапывая и раскапывая его, пока их случайно не увидел кто-то и всполошил поселок. Мужчины, которые донесли его до ближнего дома, заметили, что весил он больше, чем любой другой покойник, почти как конь, и подумали, что, наверное, его слишком долго носило по волнам и вода пропитала даже его кости. Когда положили его на пол, увидели, что он намного больше всех мужчин, он едва помещался в доме, но по-

© Перевод. Ю. Грейдинг, 2011.

думали, что некоторым утопленникам свойственно расти даже после смерти. От него пахло морем, тело было покрыто коркой из прилипал и грязи, и лишь формы позволяли предполагать, что это труп человеческого существа.

Не пришлось отчищать ему лицо, чтобы догадаться, что это мертвец чужой. В поселке было всего-то десятка два дощатых домов с каменистыми дворами без единого цветка, разбросанных на острие пустынного мыса. Земли было так мало, что матери всегда боялись, как бы ветер не унес их детей, а немногих покойников, которые появлялись с годами, приходилось сбрасывать со скал. Но море было спокойно и щедро, и все мужчины помещались в семь лодок. Так что когда нашли утопленника, им довольно было переглянуться, чтобы понять, что их не ubyло.

В ту ночь они не вышли в море. Пока мужчины ходили проверять, не пропал ли кто из соседних поселков, женщины позаботились об утопленнике. Пучками травы убрали грязь, вытащили из волос обломки рифов, соскоблили прилипал ножами, которыми чистили рыбу. Когда занимались этим, заметили: то, чем он оброс, — из дальних океанов, с больших глубин, а его одежда так измочалилась, будто он плавал в коралловых лабиринтах. Обратили внимание, что он с достоинством переносил смерть — на лице у него не отпечаталось одиночества, как у других морских утопленников, не было и жалкого вида утопленников речных. Закончив очистку, осознали, каким мужчиной он был, и у них перехватило

дыхание. Он был не только самым высоким, самым сильным, самым снаряженным из мужчин, каких они видывали в жизни, он даже не помещался в их воображении.

Во всем поселке не нашлось достаточно большой кровати, чтобы положить его, ни такого прочного стола, чтобы устроить бдение. Не подошли ему ни праздничные штаны самых высоких мужчин, ни воскресные рубашки самых толстых, ни ботинки прочнее всех стоящих на земле. Зачарованные его небывалыми размерами и красотой женщины решили сшить ему штаны из большого куска косога паруса и рубашку из свадебных простыней, чтобы мог с достоинством терпеть свою смерть.

Они шили, усевшись в кружок и поглядывая на труп, им казалось, что ветер никогда не дул так настырно, а Карибское море не было таким тревожным, как в эту ночь. Они решили, что эти перемены как-то связаны с покойником. Они думали, что если бы этот великолепный мужчина жил в поселке, то в его доме двери были бы шире, крыша — выше и полы — прочнее, рама кровати была бы из шпангоутов на железных болтах, а его жена была бы самой счастливой. Считали, что у него была бы такая власть, что он мог бы собирать рыб, просто выкликая их из моря по именам, и он был бы таким трудолюбивым, что у него забрили бы ключи из самых сухих камней, и он смог бы засеять скалы цветами. Втайне сравнили его со своими мужчинами и подумали, что те за всю жизнь не способны сделать

столько, сколько он за одну ночь, и закончили тем, что отвергли их в глубине души, как жалких заморышей. Блуждали в этом лабиринте фантазий, когда самая старая взглянула на утопленника не столько со страстью, сколько с состраданием и вздохнула:

— С таким лицом он должен зваться Эстебаном.

И правда. Большинству достаточно было взглянуть на него еще разок, чтобы понять: другого имени и быть не могло. Самые упрямые, а это были самые молодые, упорствовали в том, что если одеть его, положить его в лакированных туфлях среди цветов, он мог бы зваться Лаутаро. Но это была напрасная иллюзия. Полотна не хватило, плохо скроенные и еще хуже сшитые штаны оказались малы, а сокровенные силы его души рвали пуговицы на груди.

После полуночи утих свист ветра, а море впало в привычное для среды оцепенение. Тишина закончила с последними сомнениями: это был Эстебан. Женщины, которые одевали его, причесывали, подстригали ему ногти и скоблили подбородок не могли не вздрогнуть от сочувствия, когда им пришлось смириться и оставить его на полу. Вот тогда они поняли, насколько он был несчастлив со своим необычным телом, если даже после смерти оно ему мешало. Они видели его при жизни приговоренным протискиваться бочком через двери, стучаться о притолоки, торчать стоя в гостях, не зная, что делать со своими нежными, розовыми, как у краба, руками, пока хозяйка ищет стул попрочнее и, умирая от страха, бормочет: пожалуйста, присядьте.

Эстебан, подпирая стенки, улыбается: не беспокойтесь, сеньора, мне удобно, — только чтобы не стыдиться, что сломал стул, и, может, даже не зная, что те же, которые все твердили: подождите, Эстебан, кофе сейчас вскипит, — потом шептались: ну вот, свалил наконец отсюда большой дурак, как хорошо, ушел глупый красавчик.

Так думали незадолго до рассвета женщины рядом с покойником. Потом, когда прикрыли ему лицо платком, чтобы свет не мешал, увидели его таким навсегда мертвым, беззащитным, похожим на их мужчин, что в их сердцах открылись первые трещины для слез. Одна из самых молодых начала всхлипывать. Другие, поддерживая, перешли от всхлипываний к стенаниям, и чем больше всхлипывали, тем больше хотели плакать, потому что утопленник все больше становился для них Эстебаном, пока не стали оплакивать его как самого беззащитного мужчину на земле, кроткого и безотказного, бедного Эстебана.

Когда мужчины вернулись с известием, что утопленник вовсе не из соседних поселков, женщины ощутили проблеск радости среди слез.

— Слава Богу, — вздохнули они, — он наш!

Мужчины подумали, что это просто кривляние, женские штучки. Устав от ночных поисков, они хотели одного — поскорее избавиться от неожиданного гостя до того, как полыхнет жаром солнце в этот сухой, безветренный день. Они устроили носилки из обломков фок и бизань-мачт, связав их снастями, чтобы выдержали вес тела. Хотели цепями привя-

зять к щиколоткам снятый с торгового корабля якорь, чтобы без заминок погрузился в самые глубокие моря, где рыбы слепы, а водолазы умирают от ностальгии, чтобы шальные течения не вынесли его снова на берег, как бывало с другими телами.

Но чем больше они торопились, все больше причин находили женщины, чтобы терять время. Они бегали, как всполошенные куры, выклеывая заветные морские амулеты из сундуков. Одни мешали, потому что хотели навесить на него тканые обереги от злых ветров, другие путались под ногами, чтобы припилить браслет с компасом. И после всяких «отойди, женщина, встань подальше, чтобы не мешать, ты ведь чуть не уронила меня на покойника» мужчинам надоели заботы, и они начали ворчать. Зачем, мол, столько священных побрякушек ради чужака, если все равно его сожрут акулы, сколько нашивок и амулетов на него ни навешай. Но женщины по-прежнему таскали свои никчемные реликвии, приносили, уносили, толкались, а в причитаниях изливалось то, что не могли выразить слезы.

Мужчины перешли на ругань: с какой стати такой переполох из-за принесенного волнами мертвеца, ничейного утопленника, тухляка дерьмового. Одна из женщин, пришедшая в ужас от такой бессердечности, сняла платок с лица покойника, и у мужчин перехватило дух.

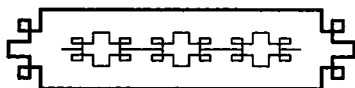
Это был Эстебан. Не пришлось повторять, чтобы его признали. Если бы им сказали «сэр Уолтер Рейли», может, они даже удивились бы его выгово-

ру гринго, попугаю на плече, аркебузе для расправ с каннибалами, но Эстебан мог быть только один во всем мире, и вот он лежал, как рыба, без башмаков, в штанах для недоноска, со своими каменными ногтями, которые и нож не берет. Оказалось, довольно снять с лица платок, чтобы понять: ему стыдно, он не виноват в том, что такой большой и тяжелый и такой красивый, и если бы он знал, что подобное случится, то поискал бы место поукромнее, чтобы утонуть. Да-да, я бы сам повесил себе на шею якорь с галеона и сам нечаянно споткнулся бы у обрыва, чтобы не докучать теперь, в среду, этим мертвяком, как вы говорите, чтобы не досадить никому этой тухлятиной, у которой нет ничего общего со мной. Было столько правды в его бытии, что даже самые недоверчивые мужчины, которые ощущали горечь по ночам в море, боясь, что их женам наскучит видеть сны о них и они возмечтают об утопленниках, даже такие и даже еще более суровые мужчины вздрогнули от искренности Эстебана.

Вот так и устроили самые великолепные похороны утопленнику-подкидышу, какие только можно вообразить. Женщины пошли за цветами в соседние поселки, вернулись с другими, которые не поверили тому, что им рассказывали, а уж те, увидев покойника, снова отправились за цветами, принесли еще и еще, и пришло столько народа, что протиснуться было трудно. В последний момент почувствовали горечь оттого, что вернут его водам сиротой, и тогда из самых лучших людей выбрали ему отца и мать,

а другие стали ему братьями, сестрами, дядьями, тетками, и через него все жители поселка породнились. Какие-то моряки, услышав издалека плач, сбились с курса, стало известно, что один из них, припомнив старые сказания о сиренах, велел привязать себя к мачте. Когда оспаривали друг у друга честь нести его на плечах по крутому склону в скалах, мужчины и женщины впервые, при виде великолепия и красоты утопленника, ощутили неприветливый вид своих улиц, камни своих дворов, ограниченность своих мечтаний. Сбросили его без якоря, чтобы он вернулся, если и когда захочет, и все затаили дыхание на ту долю веков, которую длилось падение тела в пропасть. Им не нужно было переглядываться, чтобы понять: они уже не все в сборе и никогда больше в сборе не будут. Но еще они поняли, что отныне все будет иначе, двери их домов станут шире, потолки — выше, полы — прочнее, чтобы память об Эстебане могла пройти повсюду, не утыкаясь в притолоки, и чтобы никто уже не шушукался в будущем, мол, умер большой дурак, как жаль, умер глупый красавчик. Они раскрасят дома в веселые цвета в память об Эстебане и все силы потратят, лишь бы раскопать в камнях источники и посеять цветы в скалах, чтобы на рассветах будущих лет пассажиры больших кораблей просыпались бы в открытом море от запаха садов. А капитану приходилось бы спускаться из рубки в парадном мундире с астроябией, со своим орденом «Полярной звезды» и колодкой боевых медалей и,

указывая на усеянный розами мыс на горизонте Карибского моря, говорить на четырнадцати языках: посмотрите туда, где ветер теперь так кроток, что укладывается спать под кровати, туда, где солнце сияет так, что подсолнухи не знают, куда поворачивать головы, да, это селение Эстебана.



Постоянство смерти и любовь

Сенатору Онесимо Санчесу оставалось шесть месяцев и одиннадцать дней до смерти, когда он нашел женщину своей жизни. Он познакомился с ней в Росаль-дель-Виррей*, обманчивом селении, которое по ночам было тайным пристанищем кораблей контрабандистов, а при свете дня, наоборот, выглядело ни к чему не пригодным клочком пустыни на берегу застывшего, никуда не зовущего моря и настолько далеким от всего, что никто и вообразить не мог, будто там может жить кто-нибудь, способный исковеркать чью-либо судьбу. Даже его название казалось насмешкой, ведь единственную розу, которая появилась в селении, привез с собой этот самый сенатор Онесимо Санчес в тот день, когда впервые увидел Лауру Фаринья.

Это был неизбежный, раз в четыре года, этап избирательной кампании. Утром появились фурго-

* *От исп.* Rosal del Virrey – Розарий вице-короля.
© Перевод. Ю. Грейдинг, 2011.

ны комедиантов. Потом приехали грузовики с наемными индейцами, которых возили по окрестным селениям, чтобы пополнить толпу на публичных мероприятиях. Около одиннадцати часов под музыку, фейерверк, песни и пляски группы поддержки прибыл министерский автомобиль цвета клубничного сиропа. Сенатор Онесимо Санчес был спокоен и невозмутим в своем автомобиле с кондиционером, но как только открыл дверцу, его ужаснуло огненное дыхание пустыни, рубашка из натурального шелка будто пропиталась липким варевом, и он почувствовал себя постаревшим на много лет и очень одиноким. Ему только что исполнилось сорок два года, он получил в Геттингене диплом инженера-металлурга с отличием и был настойчивым, хотя и не слишком успешным читателем плохо переведенных латинских классиков. Женат на цветущей немке, с которой имел пятерых детей, и все были счастливы в его доме, и он был счастливым до тех пор, пока ему не объявили три месяца тому назад, что он навсегда умрет еще до Рождества.

Пока заканчивалась подготовка к собранию, сенатору удалось часок побыть одному в доме, который ему предоставили для отдыха. Прежде чем прилечь, он поставил в стакан с питьевой водой живую розу, сумев сохранить ее, пересекая пустыню, пообедал предписанной ему овсянкой, которую возил с собой, чтобы избежать бесконечной пережаренной козлятины, поджидавшей его повсюду, и проглотил много болеутоляющих пилюль до назначен-

ного часа, чтобы облегчение наступило раньше, чем подступит боль. Потом сенатор запустил рядом с гамаком электрический вентилятор и голым улегся на четверть часа в полумраке розы, пытаясь отвлечься и не думать о смерти хотя бы в дреме. Кроме врачей, никто не знал, что он приговорен к точному сроку, потому что он решил страдать в одиночку, ничего не меняя в жизни, и вовсе не из-за высокомерия, а из скромности.

Он полностью владел собой, когда вновь появился на публике в три часа дня, отдохнувший, опрятный, в брюках из натурального шелка и расписанной цветами рубашке, с душой, успокоенной таблетками от боли. Однако эрозия смерти была гораздо более коварна, чем он предполагал. Поднимаясь на трибуну, сенатор почувствовал странное презрение к тем, кто спешил пожать его руку. И не испытал, как раньше, сострадания к толпе босоногих индейцев, которые едва переносили жар раскаленных камней маленькой площади. Гневно прервал аплодисменты решительным взмахом руки и начал говорить без жестов, устремив взгляд на море, которое тяжело дышало жарой. Его размеренный, глубокий голос завораживал, как стоячая вода, но речь, давно затверженная наизусть и столько раз повторенная, ему пришла в голову не для того, чтобы сказать правду, а в противовес фаталистичной сентенции из четвертой книги Марка Аврелия.

— Мы пришли сюда, чтобы победить природу, — начал он, противореча своим убеждениям. — Мы

уже не будем больше изгоями родины, божьими сиротами в царстве жажды и ненастья, изгнанниками на своей собственной земле. Мы станем другими, сеньоры, мы будем великими и счастливыми.

Это были формулы его цирка. Пока он говорил, помощники сенатора запускали в воздух стаи бумажных птичек. Они обретали жизнь, порхали над дощатой трибуной и улетали к морю. Тем временем другие вытаскивали из фургонов макеты деревьев с фетровыми листьями и втыкали их за спинами толпы в селитрянную землю. Наконец установили картонный фасад домов из красных кирпичей со стеклянными окнами и закрыли ими нищенские лачуги реальной жизни.

Сенатор продолжил речь двумя латинскими цитатами, чтобы дать время своим комедиантам. Пообещал дождевальные машины, коробки с настольными играми, жидкие удобрения «Счастье», от которых на камнях будут расти овощи, а анютины глазки свешиваться с подоконников. Когда он увидел, что его фантастический мир уже готов, то показал на него пальцем.

— Вот такими мы будем, сеньоры! — закричал он. — Посмотрите, вот такими.

Публика обернулась. Трансатлантический лайнер из раскрашенной бумаги проплывал за домами, и он был выше, чем самые высокие дома города-иллюзии. Только сам сенатор заметил, что из-за постоянных сборок-разборок и перевоза воздвигнутое картонное селение поизносилось и стало таким же

бедным, пыльным и печальным, как и Росаль-дель-Виррей.

Нельсон Фаринья не пошел приветствовать сенатора впервые за двенадцать лет. Еще не очнувшись от полуденной дремы, послушал речь в гамаке, под прохладным навесом дома из необструганных досок, который он построил теми же своими руками аптекаря, какими четвертовал свою первую жену. Сбежал из тюрьмы в Кайенне и появился в Росаль-дель-Виррей на корабле, груженном невинными попугаями, с красивой богохульной негритянкой. Он нашел ее в Парамарибо, от нее у него была дочь. Вскоре жена умерла естественной смертью и не поделила судьбы предыдущей, куски которой удобрили ее же огород с цветной капустой. Нет, эту похоронили целиком и даже под ее голландской фамилией на местном кладбище. Дочь унаследовала ее цвет и формы, а желтые ошеломительные глаза — от отца, и он был прав в предположении, что растит прекраснейшую женщину на свете.

Когда Нельсон Фаринья познакомился с сенатором Онесимо Санчесом во время его первой избирательной кампании, он просил помочь ему получить фальшивое удостоверение личности, оградившее его от юстиции. Сенатор был любезен, но твердо отказал. Нельсон Фаринья не сдавался много лет и каждый раз при случае повторял просьбу в разных вариантах. Но всегда получал тот же ответ. Так что на сей раз, приговоренный навечно гнить заживо в этом логове пиратов, он остался в гамаке.

Услышав финальные аплодисменты, поднял голову и поверх частокола увидел оборотную сторону представления: подпорки зданий, каркасы деревьев, потайных иллюзионистов, толкавших лайнер. Выплеснул свою злобу.

— Merde, — сказал он, — c'est le Blacaman de la politique*.

После речи, как полагалось, сенатор прошелся по улицам селения под музыку и фейерверк, осаждаемый жителями, которые высказывали ему свои горести. Сенатор слушал их в хорошем настроении и всегда находил способ утешить всех, не обещая ничего особенного. Одной женщине, забравшейся на крышу своего дома с шестью малолетними детьми, удалось перекричать шум и грохот петард:

— Я немного прошу, сенатор, всего лишь осла, чтобы возить воду из Колодца Повешенного!

Сенатор посмотрел на шестерых заморенных ребятишек.

— А что же твой муж? — спросил он.

— Пошел искать счастья на остров Аруба, — благодушно ответила женщина, — а нашел одну приезжую, из тех, что вставляют в челюсть алмазы.

Ответ вызвал взрыв хохота.

— Хорошо, — решил сенатор, — получишь своего осла.

Вскоре его помощник отвел в дом этой женщины скотинку, на спине которой несмываемой краской

* Вот дерьмо — Блакаман от политики (фр.).

написали предвыборный лозунг, чтобы никто не забыл, что это подарок сенатора.

Во время краткого прохода по улице были и другие благородные жесты, помельче, а еще он покормил с ложки больного, который попросил вынести свою кровать на порог дома, желая увидеть его. На последнем углу сквозь частокोल увидел в гамаке Нельсона Фаринья, и тот показался ему пепельно-серым, увядшим. Сенатор приветствовал его без особой сердечности:

— Как дела?

Нельсон Фаринья повернулся в гамаке и погрузил его в печальный янтарь своего взгляда.

— *Moi, vous savez**, — сказал он.

Дочь, услышав приветствие, вышла в патио. На ней был обычный, выношенный крестьянский халат, голову украшали цветные бантики, а лицо смазано от солнца, но даже при этом небрежном виде можно было предположить, что другой такой красавицы нет во всем мире. У сенатора перехватило дыхание.

— Мать твою, — удивленно произнес он, — бывает же такое!

Тем же вечером Нельсон Фаринья раздел дочь в лучшие наряды и отослал к сенатору. Два вооруженных ружьями стража, клевавшие носом в предоставленном сенатору доме, велели ей подождать на единственном в прихожей стуле.

* Про меня вы знаете (*фр.*).

Сенатор заседал в соседней комнате с властями Росаль-дель-Виррей, он созвал их, чтобы выдать правду, которую скрывал в речах. Они были так похожи на тех, которые всегда собирались во всех селениях пустыни, что самому сенатору до смерти надоело проводить каждый вечер одно и то же собрание. Его рубашка набухла от пота, и он старался подсушить ее на теле теплым ветерком электрического вентилятора, шмелем жужжавшего в сонном оцепенении комнаты.

— Мы, понятно, бумажными птичками не питаемся, — говорил он. — Мы с вами знаем, что в тот день, когда появятся деревья и цветы в этой козлиной сральне, в тот день, когда в ваших колодцах вместо козявок будет плавать форель, в этот самый день ни вам, ни мне тут делать уж будет нечего. Ясно?

Никто не ответил. Пока говорил, сенатор оторвал цветную картинку из календаря и сложил из нее бумажную бабочку. Машинально поднес ее к воздушной струе вентилятора, бабочка закружила по комнате и вылетела в приоткрытую дверь. Сенатор продолжал говорить уверенно, сознавая: его общница — сама смерть:

— Тогда мне не придется повторять то, что вы и так знаете: мое переизбрание выгоднее вам даже больше, чем мне, потому что мне уже осточертели гнилая вода и пот индейцев, а вы живете этим.

Лаура Фаринья заметила вылетающую бумажную бабочку. Она одна ее увидела, потому что стража в прихожей дремала на скамьях, обняв ружья.

Дав несколько кругов, огромная литографированная бабочка развернула крылья, распласталась на стене и прилепилась к ней. Лаура Фаринья попыталась ногтями оторвать ее. Один из стражей, проснувшийся от аплодисментов в соседней комнате, предотвратил бесполезную попытку.

— Не оторвешь, — произнес он сквозь дрему. — Она на стене нарисована.

Лаура Фаринья снова села, когда начали расходиться участники собрания. Сенатор стоял в дверях комнаты, положив руку на защелку, и обнаружил Лауру Фаринья, только когда из прихожей все ушли.

— Что ты здесь делаешь?

— *C'est de la part de mon père**, — ответила она.

Сенатор понял. Вгляделся в спящую стражу, затем в Лауру Фаринья, невероятная красота которой была сильнее его боли, и решил подчиниться велению смерти.

— Входи, — сказал он.

Лаура Фаринья остановилась в изумлении на пороге двери: тысячи банковских билетов парили в воздухе, махая крыльями, как бабочки. Но сенатор выключил вентилятор, и, лишившись воздуха, билеты опустились на пол.

— Вот видишь, — улыбнулся он, — и дерьмо летает.

Лаура Фаринья села, как на табурет в школе. Кожа ее была гладкой и упругой, того же цвета и той же

* Это от отца (фр.).

солнечной насыщенности, как у сырой нефти. Волосы напоминали гриву молодой кобылки, а огромные глаза были ярче света. Сенатор проследил за ее взглядом и заметил розу, запыленную селитрой.

— Это роза, — сказал он.

— Да, — кивнула она растерянно, — я видела их в Риоаче.

Говоря о розах, сенатор присел на походную кровать, пока расстегивал рубашку. На груди сбоку, где, как он предполагал, находилось его сердце, у него была корсарская татуировка — сердце, пронзенное стрелой. Сенатор бросил на пол мокрую рубашку и попросил Лауру Фаринья помочь ему снять сапоги.

Она встала на колени перед кроватью. Сенатор задумчиво разглядывал ее и, пока распуская шнурки Лауры, спросил себя, кому из них двоих будет хуже от этой встречи.

— Ты еще ребенок, — произнес он.

— Нет, — возразила она. — Мне в апреле будет девятнадцать.

Сенатор заинтересовался:

— Какого числа?

— Одиннадцатого.

Сенатор почувствовал себя лучше.

— Мы Овны, — сказал он. И добавил: — Это знак одиночества.

Лаура Фаринья не слышала его, потому что не знала, что делать с сапогами. А сенатор не знал, что делать с Лаурой Фаринья, поскольку не привык к

непредусмотренным любовям и понимал, что эта порождена чем-то недостойным. Только чтобы выиграть время и подумать, охватил Лауру Фаринья коленками, обнял за талию и откинулся на кровать. Тогда понял, что под платьем у нее ничего нет, потому что от тела исходил непонятный аромат лесного зверя, но ее сердце испуганно билось, а кожа застыла от ледяного пота.

— Никто нас не любит, — вздохнул он.

Лаура Фаринья хотела что-то сказать, но воздуха хватало ей только чтобы дышать. Желая помочь ей, сенатор положил ее рядом с собой, выключил свет, и комната осталась в полумраке розы. Она отдалась на милость судьбы. Сенатор медленно ласкал Лауру, искал рукой, едва прикасаясь к ней, но там, где надеялся найти ее, наткнулся на железную помеху.

— Что у тебя там?

— Замок, — ответила она.

— Что за глупость! — воскликнул в ярости сенатор и задал вопрос о том, что и так знал: — Где ключ?

Лаура Фаринья с облегчением вздохнула:

— У отца. Он велел вам сказать, чтобы вы послали кого-нибудь за ним и послали с ним письменное обещание, что уладите его дело.

Сенатор напрягся.

— Проклятый французишка, — возмущенно прошептал он, закрыл глаза, чтобы расслабиться, и в темноте обрел самого себя.

«Помни: и ты, и все другие — все вы умрете в очень скором времени, а вскоре от вас не останется даже имен». Подождал, когда пройдет дрожь.

— Скажи мне, — спросил он, — что ты слышала обо мне?

— Правду-правду?

— Самую что ни на есть.

— Ладно, — осмелилась Лаура Фаринья. — Говорят, что вы хуже других, потому что не такой, как они.

Сенатор не смутился. Долго молчал, закрыв глаза, а когда снова открыл их, казалось, возвращался, наведив свои самые потаенные желания.

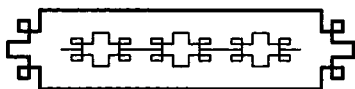
— Черт с ним, — решил он, — скажи этому козлу, твоему отцу, что я улажу его дело.

— Если хотите, я сама схожу за ключом, — предложила Лаура Фаринья.

Сенатор остановил ее.

— Забудь про ключ и поспи немного со мной. Хорошо побыть с кем-то, когда ты один.

Тогда она прислонилась к нему плечом, пристально вглядываясь в розу. Сенатор обнял Лауру за талию, запрятал лицо в ее подмышку лесного зверя и покорился ужасу. Через шесть месяцев и одиннадцать дней ему предстояло умереть в этой же позе, опозоренному и отвергнутому всеми из-за скандала с Лаурой Фаринья и плачущему от ярости, что умирает один, без нее.



Последнее плавание корабля-призрака

Теперь-то они узнают, какой я на самом деле, сказал он себе новым своим мужским голосом через много лет после того, как впервые увидел огромный трансатлантический лайнер. Тот без единого огня и звука прошел однажды ночью перед поселком, как большой опустевший дворец, длинней всего поселка и выше башни его церкви. Он проплыл в тумане к колониальному городу с укреплениями против пиратов на другой стороне залива, с его старинным портом работорговцев и вращающимся маяком. Мрачные крылья света каждые пятнадцать секунд превращали поселок в сияющую лунным серебром россыпь домов и улиц на вулканическом пейзаже. Хотя он был тогда еще ребенком и не было у него мужского голоса, зато имелось разрешение матери допоздна слушать на берегу ночные арфы ветра.

© Перевод. Ю. Грейдинг, 2011.

Он еще помнил, будто видит это сейчас, как трансатлантический лайнер исчезал, когда луч маяка бил в его борт, и снова возникал, когда луч скользил дальше. Получался мигающий корабль, он возникал и исчезал у входа в залив, как лунатик на ощупь разыскивая буи фарватера, пока что-то не сбилось в стрелках его приборов ориентации, потому что он свернул к подводным камням, наткнулся на них, развалился на куски и беззвучно ушел под воду. Столкновение с рифами должно было вызвать такой грохот железа и взорвавшихся машин, который заставил бы вздрогнуть от испуга даже самых сонных драконов доисторической сельвы. Она начиналась за последними улицами города и уходила в другой конец мира, так что он сам подумал, будто это сон. Особенно на следующий день, когда увидел залитый лучами солнца залив, разбросанные цветные пятна негритянских лачуг на холмах порта, шхуны гуайянских контрабандистов, которые грузили в трюмы невинных попугаев с зобами, набитыми бриллиантами. Он подумал, наверное, заснул я, считая звезды, и приснился мне этот огромный корабль, ну ясно же, и был так уверен в этом, что никому не рассказал о видении. И не вспоминал о нем до той же ночи в следующем марте, когда высматривал в море облачка дельфинов, а увидел темный, мигающий призрак трансатлантического лайнера, шедшего тем же гибельным курсом, что и в первый раз. Только на сей раз был уверен, что не спит, и побежал рассказывать матери, и она целых

три недели огорченно стонала, потому что у тебя же мозги протухли от желания все наоборот делать — спать днем и шататься по ночам, как всякий сброд.

А ей в то время нужно было в город за чем-нибудь удобным, чтобы усесться и подумать об умершем муже, потому что у ее качалки за одиннадцать лет вдовства дуги сносились. Заодно она попросила лодочника держаться поближе к рифам, чтобы сын мог увидеть на самом деле то, что увидел в витрине моря, — любовные игры гигантских скатов среди зарослей губок, розовых парго и голубых корвин, ныряющих в глубины самых спокойных из вод, и даже пряди волос странствующих по морским просторам утопленников еще колониальных кораблекрушений, но ни следа от потонувших лайнеров или мертвых детей. Он так уперся, что мать обещала в следующем марте пойти с ним на ночь, ну точно пойдет, не зная, что единственное, что точно будет в ее будущем, — кресло времен Фрэнсиса Дрейка. Она купила его на развале у турок, в него села отдохнуть в тот же вечер, вздыхая: мой милый Олоферн, если бы ты видел, как мне хорошо думается о тебе на этой бархатной обивке, расшитой золотом, как катафалк королевы. Но чем больше поминала мать умершего мужа, тем больше бурлила и становилась шоколадной ее кровь, будто она не сидела, а бежала, пропитанная ознобом, дыхание тяжело набухало землей, а он вернулся на рассвете и нашел ее мертвой в кресле, еще теплой, но уже наполовину разложившейся, как укушенные змеей.

То же самое случилось потом и с другими четырьмя сеньорами, пока кресло-убийцу не выбросили подальше в море, где оно не причинит вреда никому. Ведь им так усердно пользовались веками, что у него пропала способность давать отдых.

Ему пришлось привыкать к презренному положению сироты, все показывали на него пальцем, как на сына той вдовы, которая занесла в селение трон несчастий. Пришлось надеяться не столько на общественное призрение, сколько на рыбу, которую он крал с лодок. В его голосе все громче слышался рык, и он уже не вспоминал о былых видениях до еще одной ночи в марте, когда он случайно взглянул на море. Матерь Божья, вот он, огромный алебастровый кит, чертов зверь, вы только посмотрите! Он кричал так, будто обезумел, и вызвал такой собачий лай и переполох у женщин, что самые старые мужчины припомнили даже страхи своих прадедов и забились под кровати, подумав, что вернулся пират Уильям Дампир. Но те, что выбежали на улицу, не стали тратить время на созерцание невероятного чуда, которое в этот момент снова сбилось с курса и рушилось в своем ежегодном крушении, а его чуть не забили до смерти. Они оставили его в таком состоянии, что тогда-то он и сказал, давясь от ярости слюной: вот теперь-то они узнают, какой я на самом деле. Правда, остерегся поведать кому-либо о своей решимости и целый год в ожидании следующего кануна чудес провел, лелея свою идею-фикс: вот теперь-то узнаете, какой я на самом деле.

Пришло время, и он украл лодку, пересек залив и провел вечер в ожидании своего великого часа в закоулках порта работорговцев, смешавшись с карибским людским варевом. Но он был так поглощен в свои мысли, что не останавливался, как прежде, перед лавочками индусов поглазеть на китайских мандаринов, вырезанных на слоновьем бивне, и не насмехался над голландскими неграми и их ортопедическими велосипедами, и не пугался малайцев с их кожей цвета кобры, которые обогнули мир, зачарованные несбыточной мечтой о тайном кабачке, где подают филе поджаренных на вертеле бразильянок. Он ни на что не обращал внимания, пока не обрушилась на него ночь всей тяжестью звезд, а сельва не задышала сладким ароматом гардений и тухлых саламандр. Он уже греб ко входу в залив на украденной лодке, с потушенным фонарем, чтобы не всполошить портовую полицию, возносимый каждые пятнадцать секунд в иные миры зеленым крылом маяка и снова возвращаемый к человеческому естеству темнотой. Он знал, что находится вблизи биев, обозначавших подходной канал к порту, не только потому, что яснее видел их угнетающие душу огни, а и потому, что дыхание воды становилось печальнее.

Так он и греб, настолько погрузившись в себя, что даже не понял, откуда пахнуло на него ужасным дыханием акул и почему ночь стала такой плотной, будто звезды вдруг умерли, а трансатлантический лайнер уже был здесь во всем своем непостижимом

величии. Мать моя, он был больше, чем что-либо другое в этом мире, и темнее, чем самое темное на земле или воде, триста тысяч тонн акульей вони. Он проходил так близко от лодки, что видны были швы стальной бездны без искорки света в бесконечных иллюминаторах, без единого вздоха машин, ни единой души. Он нес с собой тишину, пустое небо, собственный мертвый воздух, остановившееся время, блуждающее море, в котором плавал целый мир утонувших животных.

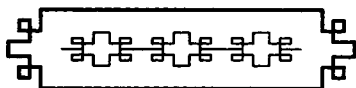
Вдруг со вспышкой маяка все исчезло, и на время снова вернулось привычное Карибское море, мартовская ночь, привычное ворчание пеликанов. Он оказался в одиночестве среди буев, не зная, что делать, с удивлением спрашивая себя, не приснилось ли это ему, и не только сейчас, но и раньше, но как только он подумал об этом, дуновение чуда погасило буи от первого до последнего. Когда мелькнул свет маяка, лайнер возник снова и его компасы уже сбились. Возможно, он даже не знал, на каком краю океана находится, наугад пробирался по невидимому фарватеру, но на самом деле сваливал к рифам, пока ему не открылось, что эта накладка с буйами станет последним ключом к тайне наваждения.

Он зажег фонарь на лодке, крохотный красный огонек, который не встревожит никого на дозорных минаретах, но который наверняка стал для лоцмана чем-то вроде восходящего солнца. По нему трансатлантический лайнер поправил курс и счастливым

маневром возвращения к жизни вошел в канал через главный вход. Его огни вспыхнули, запыхтели котлы, зажглись звезды на его небе, а трупы животных пошли на дно. Застучали тарелки, и запахло лавровым соусом на кухнях, а на лунных палубах в оркестре стало слышно трубу бомбардино и биение крови в артериях влюбленных в полумраке кают. Но в нем было столько еще запоздалой злости, что он не позволил ни оглушить себя чувствам, ни испугать чудом. Наоборот, еще решительнее сказал себе: вот теперь-то они узнают, каков я на самом деле, мать вашу, и вместо того чтобы отплыть в сторону и не быть раздавленным этой огромной машиной, он начал грести перед ней. Вот сейчас они увидят, какой я, и повел корабль за своим фонарем, пока не уверился в его послушности, заставил его снова сменить курс к причалу. Он увел его с невидимого фарватера и повлек за собой к огням поселка, как барашка на ошейнике, живого и не обращающего внимания на серпы маяка, которые теперь не погружали его в темноту, а лишь каждые пятнадцать секунд делали его алюминиевым. А там уже стали различимы кресты церкви, нищета домов, обман, а лайнер все еще шел за ним, со всем тем, что было внутри его, капитаном, спящим на том боку, где сердце, быками с корриды на льду его хранилищ съестного, одиноким больным в лазарете, беззащитной водой его цистерн, не искупившим свои грехи лоцманом, который, наверное, принял утесы за мол, потому что в этот самый момент впервые

жутко взывала сирена и его обдало струей пара. Еще раз сирена — и корабль-чужак вот-вот разобьется, и еще раз, но уже было поздно, потому что вот они, ракушки на берегу, камни на улице, двери недоверчивых людишек, все селение, освещенное огнями охваченного ужасом трансатлантического лайнера, а он едва успевает увернуться, чтобы уступить дорогу катастрофе. Он кричит в экстазе: получите, козлы, за секунду до того, как чудовищный стальной корпус врезался в землю и послышался четкий звон девяноста тысяч пятисот бокалов для шампанского, которые разбивались один за другим, от носа до кормы. И тогда стало светло, и была уже не мартовская ночь, а полдень лучезарной среды. И он мог позлорадствовать, видя недоверчивых, взирающих разинув рты на самый большой на этом свете, да и на другом тоже, трансатлантический лайнер, севший на мель перед церковью, белее всего на свете, в двадцать раз выше башни и, наверное, в девяносто семь раз больше самого селения, с названием, сияющим железными буквами, «Halalcsillag»*, и текущими по его бортам древними и обессилевшими водами морей смерти.

* Звезда смерти (венг.).



Блакаман Добрый, продавец чудес

В то воскресенье, когда я увидел его впервые, он показался мне похожим на кобылу пикадора из-за бархатных подтяжек, простроченных золотыми нитями, его перстней с цветными камнями на всех пальцах и связки бубенчиков. Он топтался на столе в порту Санта-Мария-дель-Дайрен среди флаконов со снадобьями и травами радости, которые он сам приготавливал и продавал по всем селениям Карибского побережья. Только вот тогда он не продавал что-то скопищу индейцев, а просил принести ему настоящую змею, чтобы показать на самом себе изобретенное им противоядие, единственно верное средство, дамы и господа, от укусов змей, тарантулов и сколопендр и всех ядовитых млекопитающих. Кому-то, на кого, похоже, произвела впечатление его решимость, удалось добыть неизвестно где и

© Перевод. Ю. Грейдинг, 2011.

принести в склянке лабаррию, из самых опасных, которые сразу останавливают дыхание, а он снял затычку с таким нетерпением, что все мы подумали — он собирается ее съесть. Но как только змея почувствовала свободу, она ножницами вонзилась в его шею, сразу заткнув его красноречие.

Он едва успел принять противоядие, когда все его дешевые снадобья полетели в толпу, а огромное тело моталось по земле так, будто было без костей. Но он по-прежнему улыбался всеми своими золотыми зубами. Такой случился переполох, что на одном броненосце с севера, стоявшем у причала с дружеским визитом уже двадцать лет, объявили карантин, чтобы на борт не проник змеиный яд, а народ, который праздновал пальмовое воскресенье, выбежал с мессы с освященными ветвями, потому что никто не хотел пропустить представление с ужаленным. Тот уже начинал раздуваться воздухом смерти и стал вдвое толще, чем был раньше, изрыгал изо рта ядовитую пену, выпускал воздух через поры, но все еще смеялся так заразительно, что бубенчики звенели на всем его теле, которое так вспухло, что лопались шнурки на крагах и швы на одежде. Пальцы вздулись колбасками из-за перстней, и сам он стал цвета оленины в рассоле, а из задницы вырывались последние приветы. Всякий, кто видел укушенных змеей, знал, что он сгниет еще живым и так развалится на крошки, что придется подбирать его лопатой в мешок. Люди думали, что даже в состоянии опилок он будет смеяться. Зрелище было такое невероятное, что морская

пехота высыпала на мостики корабля, чтобы снимать его цветные портреты дальнобойными объективами, но выходявшие с мессы женщины расстроили их планы. Они накрыли умирающего шалью и положили сверху освященные пальмовые ветви. Одни — потому что им не нравилось, что морская пехота оскверняет тело своими адвентистскими аппаратами, другие — оттого, что им было страшно смотреть на такого идолопоклонника, способного умереть, умирая со смеху, а третьи — в надежде, что этим помогут хотя бы его душе избавиться от яда. Все считали его мертвым, когда он, все еще ошалелый, не оправившись от случившегося, разом сдвинул с себя ветви, подпрыгнул, как краб, запрыгнул на стол без посторонней помощи и вот уже снова кричит, что это противоядие — сама божья помощь в пузырьке, как все мы видели собственными глазами, хотя стоит оно всего два квартильо*, потому что он изобрел его не корысти ради, а для блага всего человечества, так кто там дает один квартильо, дамы и господа, только не напирайте, на всех хватит.

Конечно, напирали, и правильно делали, потому что на всех не хватило. Даже адмирал с броненосца добыл себе пузырек, посчитав, что средство поможет от отравленных пуль анархистов, а члены экипажа, которым не удалось снять его мертвым, не удовольствовались цветными снимками стоящего на столе и заставили его давать автографы, пока

* Испанская монета, четверть реала.

судорога не свела ему руку. Почти стемнело, и в порту оставались только самые оторопелые, когда он оглядел нас, выискивая кого поглупее, чтобы помочь ему убрать пузырьки, и, конечно, остановил выбор на мне. Это был выбор самой судьбы, не только моей, но и его, потому что прошло уж больше века, а мы оба помним тот момент, будто это случилось прошлым воскресеньем. Дело в том, что тогда мы складывали его цирковую аптеку в кофр с фиолетовой подкладкой, который больше похож был на гробницу мудреца, и он, наверное, увидел во мне некий свет, какого сначала не заметил. Спросил недовольно, кто ты такой, а я ответил, что я единственный круглый сирота, у которого отец еще не умер. И он расхохотался еще громче, чем от яда, и спросил, чем ты занимаешься, а я ответил, что ничем, кроме того, что живу, потому что остальное не стоит и выеденного яйца. Все еще помирая со смеху, он поинтересовался, чему хотел бы я научиться в этом мире, и только в этот раз я ответил всерьез, без шуток, что хотел бы стать прорицателем. Тогда он уже не смеялся, а сказал, как бы размышляя вслух, что для этого у меня уже есть неплохой задаток, то, чему и учиться не надо, — глупое лицо. В тот же вечер он поговорил с моим отцом и за один реал и два квартильо, да еще за колоду карт для предсказания супружеских измен купил меня навсегда.

Таким был Блакаман Злой, потому что добрый — это я. Он способен был даже астронома убедить, будто месяц февраль — всего лишь стадо не-

видимых слонов, но когда судьба отворачивалась от него, он ожесточался сердцем. В свои лучшие времена он бальзамировал вице-королей. Говорят, он делал им такие властные лица, что они еще много лет продолжали править, даже лучше, чем при жизни, и никто не осмеливался похоронить их, пока он не возвращал им мертвые лица. Но его престиж пошел прахом из-за необдуманного изобретения бесконечных шахмат, они свели с ума одного капеллана и вызвали два нашумевших самоубийства. Вот так и скатился он от толкователя снов до гипнотизера на днях рождения, от зубодера внушением до ярмарочного костоправа, так что ко времени, когда мы встретились, на него косо смотрели даже флибустьеры.

Мы уже просто плыли по течению с нашими краплеными картами, и жизнь была вечным кораблекрушением с попытками то продать контрабандистам свечи для побега, которые делали невидимками, если их воткнуть куда надо, то тайные капли. Крещеные жены бросали их в суп, чтобы внушить страх Божий в мужей-голландцев, и все, что вы пожелаете, дамы и господа, только это не приказ, а всего лишь совет, на самом деле к счастью не принудишь. Однако как бы мы ни помирали со смеху от его остроумия, вообще-то с трудом добывали себе на пропитание, и его последней надеждой стали мои способности предсказателя. Он запирал меня в маске японца в свой погребальный кофр и связывал корабельными цепями, чтобы я хоть что-

то угадал, а он терзал грамматику, ища лучший способ заставить всех уверовать в его новые познания. Вот перед вами, дамы и господа, это дитя, терзаемое светляками Иезекиила, а вы, да-да, вот вы, с недоверчивым лицом, решитесь ли спросить его, когда умрете. Но мне ни разу не удалось отгадать даже какое сегодня число, так что он разжаловал меня из прорицателей, потому что сонливость от сытости влияет на твою предсказательную железу. Стукнув меня палкой по голове, решил вернуть отцу, чтобы вернуть себе удачу, а заодно получить обратно деньги.

Тем временем ему удалось найти практическое применение электричеству, порождаемому страданиями, и он принялся сооружать швейную машинку, которая должна работать, если присосками присоединить ее к больной части тела. Так как я всю ночь стонал от палочных ударов, которые он раздавал, чтобы оградить себя от несчастий, ему пришлось остаться со мной в качестве испытателя своего изобретения, и мое возвращение было отложено, пока машинка не заработала проворнее какой-нибудь монастырской послушницы. К тому же она еще вышивала птиц и альстромерии в зависимости от того, что болело, и силы боли. Так мы и жили, убежденные в нашей победе над невезением, когда до нас дошло известие, будто командир броненосца захотел повторить в Филадельфии опыт с противоядием и в присутствии всего своего штаба превратился в мармелад с галунами.

Он надолго лишился желания смеяться. Мы бежали и скрывались по индейским ущельям. Чем глуше были места, тем скорее до нас доходила молва о том, что морская пехота захватила страну под предлогом борьбы с желтой лихорадкой, сносили головы всем бродячим торговцам — и старым, и случайным, и не только местным — из предосторожности, но и китайцам ради забавы, неграм — по привычке, а индусам — за то, что заклинают змей, а потом изничтожили фауну и флору и то, что могли, — из минерального царства, потому что их специалисты по нашим делам объяснили им, что карибские жители способны менять свое обличье, чтобы дурачить гринго. Я не понимал, откуда у них столько ненависти и почему мы так боимся, пока мы не оказались в безопасности под вечными ветрами Гуахиры, и только там он решился признаться, что его противоядие было всего лишь ревенем со скипидаром, но зато он заплатил два квартильо одному проходимцу за то, что тот принес ему ту лишенную яда змею.

Мы поселились на руинах колониальной миссии в напрасной надежде, что появятся контрабандисты — люди, которым можно доверять, ведь только они способны на приключения под безжалостным солнцем селитряной пустыни. Вначале мы питались копчеными саламандрами, заедая их цветками, собранными среди камней, и нам еще хватало духа смеяться, когда пытались сварить и съесть его краги. Под конец ели даже паутину из колодцев и толь-

ко тогда поняли, как нам не хватало людей. В те времена я не знал никакого средства от смерти и в ожидании ее просто лег там, где было не так жестко, а он бредил воспоминаниями о женщине, такой нежной, что при желании могла пройти сквозь стены. Но даже это вымышленное воспоминание было изобретательной уловкой для обмана смерти любовными страстями. Однако в тот час, когда мы уже должны были умереть, он подошел ко мне, как никогда, живой, стал следить за моей агонией и думал с такой силой, что мне до сих пор не удалось сообразить, что свистело среди камней — ветер или его мысли. Еще до рассвета он сказал мне тем же голосом и с той же решительностью, что и прежде, что теперь он все понял: я снова отвратил от него удачу, так что подтяни штаны, потому что как отвратил, так и приманишь.

Вот тут стали исчезать остатки привязанности, которую я к нему испытывал. Он снял с меня последние обноски, обмотал колючей проволокой, растирал раны кусками селитры, засалил в моих же водах, подвесил за ноги, чтобы провялить на солнце, и все кричал, что такого умерщвления плоти еще мало, чтобы утихомирить его преследователей. Под конец он бросил меня гнить в моих собственных несчастьях в подземелье для покаяния, где колониальные миссионеры перевоспитывали грешников, и с коварством чревоушателя, которого ему было не занимать, принялся подражать голосам съедобных животных, шепоту спелых свекол и журчанию

ручейков, чтобы мучить меня иллюзией того, что умираю от голода в раю. Когда контрабандисты доставили ему необходимое, он спускался в подземелье, давал поесть, чтобы не дать мне умереть, но потом заставлял платить за это подавание, выдергивая ногти клещами и стесывая зубы мельничными жерновами. Единственным моим утешением было желание, чтобы жизнь дала мне время и случай расчитаться за такие издевательства еще более свирепыми муками. Я удивлялся самому себе, что мог выдержать эту вонь собственного гноя, а он сбрасывал мне свои объедки и раскидывал по углам падаль — ящериц и ястребов, чтобы воздух подземелья окончательно отравил меня.

Не знаю, сколько времени прошло, когда он принес тушку кролика, чтобы показать мне, что скорее сгноит его, чем даст мне съесть. Однако и тут мне хватило терпения, осталась лишь злость, так что я схватил тушку кролика за уши и швырнул ее в стену, видя в кролике не животное, а его самого, который сейчас разобьется о стену. И вот тогда и произошло как во сне: кролик не только воскрес, вереща от ужаса, а даже вернулся в мои руки, шагая по воздуху.

Тогда началась моя большая жизнь. С тех пор брожу по свету, спасая от болотной лихорадки за два песо, возвращая зрение слепым за четыре пятьдесят, обезвоживаю отечных за восемнадцать, ставлю на ноги калек за двадцать, если они калеки с рождения, за двадцать два, если от несчастного слу-

чая или драк, за двадцать пять, если в результате военных действий, землетрясений, высадок морской пехоты или любых других стихийных бедствий, излечивая оптом от общих заболеваний — по договоренности, свихнувшихся — смотря на чем, детей — за полцены, а глупцов — из благодарности. А ну, дамы и кабальеро, кто отважится сказать, что я не филантроп, вот теперь да, господин командующий двадцатым флотом, прикажите своим ребятам убрать баррикады, чтобы прошло болящее человечество, прокаженные налево, эпилептики направо, паралитики — туда, где не будут мешать, а туда подальше — не самых неотложных, только, пожалуйста, не толпитесь. Я не в ответе, если перепутаются болезни и окажутся вылечены от того, чего у них нет. И пусть играет музыка, пока не расплавятся медные трубы, и летят ракеты, пока не обожгутся ангелы, и льется водка, пока не убьет мысли, и пусть придут хамоватые служанки и канатоходцы, мясники и фотографы, и все — за мой счет, дамы и кабальеро. Вот здесь и кончилась дурная слава Блакаманов, и началась всеобщая суматоха. Вот так я вас и усыплю, прямо-таки депутатским способом, на всякий случай, если подведет мое умение и некоторым станет хуже, чем было. Единственное, чего я не делаю, — не воскрешаю мертвых, потому что едва откроют глаза, в ярости набрасываются на того, кто вырвал их из могилы, а в конце концов те, кто не убьет себя, все равно умирают от разочарования. Сначала мне докучала

свита ученых — хотели изучить законность моего промысла, а когда убедились, что все чисто, стали угрожать мне адом Симона волхва и посоветовали вести покаянную жизнь, чтобы стать святым. Я ответил им с полным уважением, что с этого уже начинал. Но дело в том, что я ничего не выгадываю, если стану святым после смерти. Я ведь артист, и единственное, чего хочу, — жить, чтобы быть счастливым с этим вот тарантасом — шестицилиндровым кабриолетом, который купил у консула пехотинцев, с шофером — уроженцем Тринидада, который был баритоном в опере о пиратах в Новом Орлеане, с моими рубашками из настоящего шелка, с моими восточными лосьонами, зубами из топаза, татарской кепочкой и двухцветными ботинками, чтобы спать без будильника, танцевать с королевами красоты, завораживая их книжной риторикой, и чтобы поджилки не тряслись от страха, если вдруг в первый день Великого поста увянут мои способности. Ведь для того чтобы продолжать такую жизнь министра, мне довольно моего глупого лица, и вообще на мой век хватит магазинчиков, их у меня полно — отсюда и до заката, там те же самые туристы, которые раньше по-адмиральски грабили нас, теперь бегают за портретами с моим росчерком, за альманахами с моими стихами про любовь, за медалями с моим профилем, за клочки моей одежды, и это еще не считая досадного почета день и ночь стоять в мраморе, как отцы отечества, — конной статуей, загаженной ласточками.

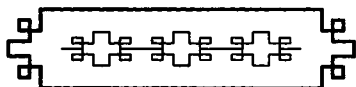
Жаль, что Блакаман Злой не сможет повторить эту историю, чтобы поняли: она не выдумана. В последний раз, когда его видели в этом мире, он потерял даже остатки прежнего своего блеска, и дух его был сломлен, и кости не в порядке из-за невзгод пустыни. Но на нем все еще звенела пара бубенчиков, когда он появился в то воскресенье в порту Санта-Мария-дель-Дайрен с вечным своим погребальным кофром, только на сей раз он не продавал никаких противоядий. Надтреснутым от волнения голосом просил, чтобы морские пехотинцы расстреляли его публично, желая на собственной шкуре продемонстрировать воскресительные способности вот этого сверхъестественного создания, дамы и господ, и хотя вы с полным правом можете мне не верить, после того как я много лет страдал дурными замашками, обманывал и плутовал, клянусь прахом матери, что в этом испытании нет ничего потустороннего. Оно откроет вам чистую правду, а если остались у вас сомнения, обратите внимание: теперь я не смеюсь, как раньше, а сдерживаю слезы. Было убедительно, когда он расстегнул рубашку и похлопал себя по груди, показывая, что лучшее место для смерти — сердце, однако морские пехотинцы не отважились стрелять, опасаясь, что воскресные толпы сочтут такой поступок бесчестным. Кто-то, не забывший, наверное, прежние блакамановы штучки, добыл неизвестно откуда и принес в консервной банке

корни барбаско*, которых хватило бы, чтобы все корвины Карибского моря всплыли вверх брюхом, а он откупорил их с таким видом, будто собирается съесть. И действительно съел, дамы и господа, только, пожалуйста, не волнуйтесь и не молитесь, узрев меня почившим, ведь эта смерть ненадолго.

В тот раз он был таким добросовестным, что не прибег к оперным стенаниям, просто спустился со стола, поискал на земле достойное место, чтобы лечь, посмотрел на меня снизу, как на мать родную, и испустил последний вздох в моих объятиях, все еще сдерживая мужские слезы, весь перекрученный столбняком вечности. Конечно, в этот единственный раз моя наука не сработала. Я засунул его в тот кофр заданного размера, где он поместился целиком, заказал ему мессу, Темную полунощницу, которая обошлась мне четыре раза по пятьдесят дублонов, потому что священник был в золотом наряде, да еще сидели трое епископов. Я распорядился воздвигнуть ему императорский мавзолей на холме, овеваемом лучшими морскими ветрами, с капеллой для него одного и железной плитой, где написано готическими прописными буквами, что здесь покоится Блакаман Мертвый, ошибочно называемый Злым, обманщик пехотинцев и жертва науки. А когда мне показалось, что почета довольно, чтобы воздать ему должное за его достоинства,

* Тропическое растение, используемое как инсектицид и для отравления рыб.

я начал мстить за его гнусности и воскресил его в бронированной гробнице, оставив там кувыряться в ужасе. Это было задолго до того, как город Санта-Мария-дель-Дайрен сожрали гигантские муравьи, но мавзолей по-прежнему стоит на холме, в тени драконов, которые поднимаются сюда подремать на атлантических ветрах, и каждый раз, когда бываю в этих местах, отвожу ему целый автомобиль роз. Сердце болит у меня от жалости к его достоинствам, но потом прикладываю ухо к плите, чтобы услышать его плач в обломках исковерканного кофра, а если он снова умер, то воскрешаю его, поскольку смысл кары в том, чтобы он продолжал жить, пока жив я, то есть вечно.



Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердой бабушке

Эрендире купала свою бабушку, когда поднялся ураганный ветер ее Несчастья. От его первого удара содрогнулся их огромный особняк с грубо оштукатуренными тускло-белыми стенами, затерянный в одиночестве пустыни. Но Эрендире с бабушкой, привычные к причудам бесноватой природы, не приняли во внимание мощный напор ветра и остались в ванной комнате, украшенной орнаментом из павлинов и нехитрой мозаикой в стиле римских бань.

Голая огромная бабка походила на прекрасную самку белого кита в мраморном водоеме. Эрендире только-только исполнилось четырнадцать лет. Она была слабенькая, хрупкая — косточки неокрепшие — и безответная не по годам. Сосредоточенно, будто совершая священный обряд, она поливала бабушку отваром из целебных трав и благоуханных

© Перевод. Э. Брагинская, наследники, 2011.

листьев, которые прилипали к ее мясистой спине, к распущенным жестким волосам, к могучему плечу, татуированному похлеще, чем у бывалых моряков.

— Сегодня мне снилось, что я жду письма, — сказала бабушка.

Эрендира, которая не разжимала рта без надобности, спросила:

— А какой день был во сне?

— Четверг.

— Значит, письмо с дурной вестью, — сказала девочка, — но мы его не получим.

После купанья она повела бабушку в спальню. Старуха была такая толстая, такая грузная, что могла передвигаться, лишь опираясь на плечико Эрендиры или на величественный посох, похожий на епископский. Но в каждом ее движении, которое она делала через силу, проступало властное застарелое величие. В спальне, убранной без всякого чувства меры, с той бредовой роскошью, какой отличался весь дом, Эрендира два часа подряд возилась с бабкой. Она распутала — прядка за прядкой — ее волосы, надушила их, причесала, надела на нее платье с экзотическими цветами, подкрасила губы кармином, навела румяна на щеки, напудрила лицо тальком, смягчила веки мускусным маслом, покрыла ногти перламутровым лаком и, когда бабка стала похожей на раскрашенную огромную — выше человеческого роста — куклу, отвела ее в сад с искусственными удушливыми цветами, точно такими же, как на ее платье. Усадив бабушку в глубокое старинное кресло, похожее на трон, она

оставила ее слушать в одиночестве хриплые граммофонные пластинки.

Пока бабка плыла по тинистой реке своего прошлого, Эрендира убирала дом — мрачный и сумбурный, забитый причудливой мебелью, статуями вымышленных Цезарей, алебастровыми ангелами, люстрами с хрустальными слезками, раззолоченным роялем и несметным количеством часов самых невысказанных форм и размеров. В патио была большая цистерна, где хранилась вода, которую много лет подряд таскали на своем горбу индейцы из дальнего источника. К одному из тяжелых колец цистерны был привязан захиревший страус, единственное животное в перьях, которому удалось выжить в этом гибельном климате. Особняк стоял вдали от всего, в самом сердце пустыни, и лишь неподалеку ютилось маленькое селение с жалкими прокаленными улочками, где с отчаяния лишали себя жизни козлы, когда налетал ветер Несчастья.

Это непостижимое убежище выстроил бабкин супруг, легендарный контрабандист по имени Амадис, от которого она родила единственного сына и нарекла Амадисом, и вот он, второй Амадис, был отцом Эрендиры. Никто толком не знал, как и почему появилось здесь это семейство. Среди индейцев жил упорный слух, что первый Амадис вызволил свою красавицу жену из публичного дома на Антильских островах, зарезав при этом одного мужчину, и укрылся с ней в равнодушной к закону пустыне. Когда оба Амадиса умерли — один от сжигающей душу

лихорадки, другой — изрешеченный пулями в каком-то споре с соперником, — бабка похоронила их в патио, прогнала четырнадцать босоногих служанок, но по-прежнему лелеяла мечты о величии в сумраке дома, укрытого от стороннего взгляда, потому что ей жертвенно служила Эрендира, незаконнорожденная внучка, которую она взяла к себе с первых дней ее жизни.

Только на то, чтобы завести и сверить все часы, у Эрендиры уходило полдня. В тот роковой день, когда на нее обрушилось Несчастье, ей не надо было заниматься часами, потому что все часы заводились на сутки, но зато она искупала и передела бабушку, перемыла все полы, сварила обед, протерла весь хрусталь. Часов в одиннадцать, когда она сменила воду в ведре для страуса и полила чахлую травку на могилах Амадисов, лежавших рядком, ее чуть было не сбило с ног яростным ударом ветра, который заметался из стороны в сторону, но она не учуяла в том дурного знака и не угадала, что это — ветер ее Несчастья. В полдень, протирая последние бокалы для шампанского, Эрендира уловила вдруг сладковатый запах бульона и опрометью бросилась на кухню, каким-то чудом не разбив венецианское стекло.

Еще бы чуть — и кипящая оля пролилась на плиту. Эрендира поставила тушить мясо со специями, приготовленное заранее, и, урвав свободную минутку, села на кухонный табурет. Девочка закрыла глаза и вскоре открыла, но в них уже не было

никакой усталости. Она принялась наливать суп в фарфоровую супницу, но делала это во сне!

Бабка одиноко сидела во главе банкетного стола, накрытого на двенадцать персон и уставленного серебряными подсвечниками. Едва зазвенел ее колокольчик, Эрендира примчалась с дымящейся супницей. Пока девочка наливала в тарелку суп, бабушка, заметив, что она делает все в забытьи, как сомнамбула, быстро провела рукой перед ее глазами, точно протирая незримое стекло.

Эрендира так и не увидела бабушкиной руки. Старуха посмотрела на нее сторожким взглядом и, когда девочка направилась на кухню, громко окликнула:

— Эрендира!

Резко проснувшись, Эрендира уронила супницу на ковер.

— Пустяки, детка, — сказала бабушка почти ласково, — просто ты спишь на ходу.

— У меня все само засыпает, — виновато сказала Эрендира. Она подняла супницу и стала оттирать пятно на ковре, с трудом выбираясь из сонного дурмана.

— Брось, — пожалела ее бабка, — вечером отмоешь.

Вот так, вдобавок ко всем вечерним делам, Эрендира отмывала ковер и заодно перестирала в мойке всю смену белья с понедельника, а тем временем ветер кружил и кружил у дома, пытаясь проникнуть внутрь сквозь какую-нибудь щель. Столько всего

переделала Эрендира за вечер, что и не заметила, как стемнело, и лишь когда расстелила в столовой ковер, поняла, что давно уже время спать.

Всю вторую половину дня бабка для собственной улады брэнчала на рояле, выводя высоким фальцетом песни своей молодости, и мускус смешался на ее веках с прочувственными слезами. Но едва она легла в постель в ночной сорочке тончайшего муслина, как улетучилась вся горечь воспоминаний о невозвратных временах.

— Найди завтра время, чтобы выбить ковер в зале, — сказала она Эрендире, — он не жарился на солнышке с моих счастливых времен.

— Хорошо, бабушка.

Она взяла веер из страусовых перьев и стала обмахивать беспощадную величественную старуху, а та, медленно погружаясь в сон, перечисляла все оставшиеся дела:

— Не ложись, пока не перегладишь белье, а то сон будет не сон.

— Хорошо, бабушка.

— Пересмотри как следует платяные шкафы: при ночном ветре моль очень прожорлива.

— Хорошо, бабушка.

— Останется время — вынеси в патио все цветы, пусть подышат.

— Хорошо, бабушка.

— И покорми страуса.

Бабка уже заснула, но по-прежнему давала распоряжения. Собственно, от нее внука и унаследо-

вала эту способность спать и одновременно бодрствовать.

Выскользнув из спальни, Эрндира взялась за порученные дела, отвечая всякий раз на слова спящей бабки.

— Полей как следует могилы.

— Хорошо, бабушка.

— Перед сном посмотри, все ли в порядке, если вещь не на своем месте, она мается и не спит.

— Хорошо, бабушка.

— И если вдруг нагрянут Амадисы, предупреди, пусть не ночуют, — сказала бабка. — Порфирио Галан со своей шайкой ждет не дожидется, чтобы их прирезать.

Эрндира уже не отвечала, зная, что бабушка путается в бреду, но безотказно выполняла все приказы. Проверив все шпингалеты на окнах, потушив повсюду свет, она взяла в столовой серебряный канделябр и пошла к себе, светя дорогу и прислушиваясь к мерному, могучему дыханию бабки, которое разносилось по дому, когда вдруг стихал ветер.

У Эрндиры была нарядная спальня, хотя не такая роскошная, как у бабушки, но зато с тряпичными куклами и заводными игрушками из ее совсем недавнего детства. Вымотанная за день до полуночи, Эрндира, поставив канделябр со свечой на ночной столик, упала на постель в чем была, не раздеваясь. А вскоре ветер ее Несчастья ворвался в спальню сворой разъяренных собак и опрокинул горящую свечу на занавеску.

На рассвете, когда ветер наконец улегся, застучали тяжелые, крупные капли дождя, которые погасили тлевшие угли и прибили дымящийся пепел — все, что осталось от старого особняка. Жители деревушки, большей частью индейцы, спешили выудить хоть что-нибудь из пожарища — обугленный труп страуса, раму позолоченного рояля, торс какой-то статуи. Бабка со скорбной отрешенностью таращилась на жалкие останки своего богатства. Эрендира, сидевшая меж двумя могилами Амадисов, уже не плакала. Когда величественная старуха окончательно уверилась, что в грудe обломков нет ничего стоящего, она взглянула на внучку с искренним состраданием.

— Бедная моя детка, — вздохнула, — тебе до конца жизни не расплатиться со мной за такие убытки!

Эрендира начала расплачиваться в тот же день, когда под назойливо шумным дождем бабка свела ее к шуплому, рано овдовевшему деревенскому лавочнику, которого знали как большого охотника до нетронутых девочек, за которых он платил, не скупясь. На глазах у невозмутимой бабки вдовец с научной зыскательностью осмотрел Эрендиру, оценивая упругость ее ляжек, величину грудей, объем бедер. Он долго молчал, подсчитывая в уме, чего она стоит.

— Еще совсем зеленая, — наконец произнес он, — грудки у нее острятся, как у сучки.

Он поставил Эрендиру на весы, чтобы цифры подтвердили его правоту. Девочка весила сорок два килограмма.

— Красная цена — сто песо, — сказал лавочник.
Бабка возмутилась.

— Сто песо за такую нетоптанную курочку! — ахнула. — Ну, любезный, у тебя, оказывается, никакого уважения к девичьей невинности.

— Сто пятьдесят.

— Эта деточка причинила мне ущерба на миллион песо, а то и больше. Если так пойдет дело, ей не рассчитаться со мной и за двести лет.

— К счастью, — сказал вдовец, — лет ей совсем немного, это ее единственный плюс.

Буря грозила разнести дом в щепки, и в потолке было столько дыр, что лило как на улице. Бабка вдруг почувствовала себя совсем одинокой и потерпевшей непоправимое крушение.

— Добавь до трехсот, — сказала она.

— Двести пятьдесят.

Они сошлись на двухстах двадцати наличными, а в придачу немного съестного.

Бабка повелела Эрендире идти с лавочником, и тот повел ее в складское помещение, точно первоклассницу в школу.

— Я подожду тебя здесь, — сказала старуха.

— Хорошо, бабушка.

Складским помещением был всего-навсего навес из сотлевших пальмовых листьев, с четырьмя кирпичными столбами, обнесенный метровой стеной из адобе, которая нисколько не спасала от ненастья. На стене стояли большие горшки с кактусами и еще какими-то колючками. Выцветший гамак,

привязанный к двум кирпичным столбам, болтался, надуваясь ветром, словно парус лодки, унесенной в море. Сквозь раскатистый свист бури и обвальный шум дождя пробивались приглушенные крики, вой далеких зверей, взвизги беды.

Войдя в эту жалкую постройку, вдовец и Эрендира едва удержались на ногах от удара косога ветра с дождем, который вымочил их до нитки. Они не слышали друг друга, и движения их сделались деревянными в реве неистовой стихии.

При первой попытке вдового лавочника Эрендира заорала по-звериному и рванулась в сторону. Вдовец молча заломил ей руку за спину и поволок к гамаку. Изловчившись, она расцарапала ему лицо и зашлась беззвучным криком. А он в ответ вlepил ей такую внушительную пощечину, что она как бы оторвалась от земли и ее длинные волосы зазмеились в воздухе. Вдовец подхватил ее под лопатки, не дав встать на ноги, и резким ударом повалил в гамак, а потом так прижал коленкой, что и не шелохнуться. Вот тут ее обуял ужас, и она, потеряв сознание, в каком-то дурмане увидела лунную бахрому рыбки, проплывшей в грозовом воздухе. А тем временем вдовец размеренно сдергивал с нее одежды длинными лоскутами, словно вырывал с корнем траву, и эти цветные полоски, подхваченные ветром, взвивались вверх, как праздничный серпантин...

Когда в селении не осталось ни единого мужчины, готового заплатить самую малость за любовь Эрендиры, бабка повезла ее на грузовике в края

контрабандистов. Они устроились в открытом кузове, среди мешков с рисом и банок с маслом, прихватив с собой остатки былой роскоши: спинку вицекоролевской кровати, ангела с мечом, закопченное старинное кресло и еще какую-то дребедень. В бауле, на котором малярной кистью были выведены два креста, они везли кости Амадисов.

Тучная бабка, прячась от неизбежного солнца под обтрепанным зонтом и вся в липком поту, задыхалась от пыли и зноя. Ей было очень тяжело, но она все равно держалась с победительным достоинством. А тем временем за стеной банок и мешков Эрендира платила за дорогу и провоз багажа, занимаясь любовью за двадцать песо с неумным грузчиком. Поначалу она истово оборонялась, как в тот раз, когда на нее набросился вдовец. Но у грузчика был другой подход: он действовал не спеша, умело, и взял ее лаской. Так что, когда они после долгого, изнурительного пути подъехали к первому селению, Эрендира с молодым грузчиком безмятежно отдыхали от сладких утех за парашетом мешков и банок. Водитель крикнул бабке:

— Вот здесь и дальше живут люди.

Бабка недоверчиво обвела глазами жалкие пустынные улочки селения: оно было чуть больше того, откуда она уехала, но такое же унылое и неприятное.

— Хм... — усомнилась бабка.

— Это земли миссионеров.

— Меня лично интересуют контрабандисты, а не благотворительность, — сказала старуха.

Прислушиваясь к их разговору, Эрендира сунула пальчик в мешок с рисом и, неожиданно нащупав нитку, потянула ее и вытащила длинное ожерелье из натурального жемчуга. Она испуганно держала его в пальцах, точно дохлую гадюку, а водитель между тем втолковывал бабушке:

— Что за выдумки, сеньора! Здесь и в помине нет контрабандистов.

— Как это нет! — ухмыльнулась бабка. — Расскажи кому другому.

— Ну ищите на здоровье, может, повезет, — добродушно хохотнул водитель. — Болтают что ни лень, а чтоб видеть — никто.

Грузчик, заметив ожерелье в руке Эрендиры, выхватил его и быстро сунул в мешок с рисом. В эту минуту бабка, все же решившая остаться в этом убогом городке, кликнула Эрендиру, чтобы с ее помощью слезть с грузовика. Эрендира поцеловала молодого грузчика второпях, но пылко и как надо.

Бабка, сидя на величественном кресле посреди пустыря, наблюдала, как сгружают ее имущество. Последним оказался баул с останками Амадисов.

— Ну и тяжесть! Внутри, случаем, не покойник? — засмеялся водитель.

— Там два покойника, — отчеканила бабка. — Так что обращайтесь с ними уважительно.

— Бьюсь об заклад — там две мраморные статуи! — снова хохотнул водитель.

И, бросив без всякого почтения баул в кучу с обгорелой, изломанной мебелью, подставил старухе протянутую ладонь:

— С вас пятьдесят песо.

Старуха кивнула в сторону грузчика:

— Вашему работничку заплачено сполна.

Водитель озабоченно глянул на молодого парня, молча кивнувшего головой, а потом залез в кабину, где всю дорогу сидела молодая вдова с малышом на руках, который плакал и плакал от жары. И вот тут грузчик, человек весьма в себе уверенный, сказал бабке:

— Эрендира, с вашего позволения, поедет со мной.

У меня самые серьезные намерения.

Девочка испуганно пролепетала:

— Я ни о чем не просила.

— Я и говорю, это — моя воля, — сказал грузчик.

Бабка оглядела его с ног до головы, но вовсе без презрения, а как бы примериваясь, хватит ли у него пороху.

— Лично у меня нет возражений, — сказала она, — только плати сразу за все, что я потеряла по ее небрежности... Это — восемьсот семьдесят две тысячи триста пятнадцать песо минус четыреста двадцать, которые она выплатила, итого, значит, восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять.

Водитель завел мотор.

— Клянусь, я отдал бы вам эту кучу денег, кабы они у меня были, — сказал парень серьезным голосом. — Девочка того стоит.

Бабушке пришлось по душе решительные слова юноши.

— Когда будут, возвращайся, сынок, — сказала она сочувственно, — но сейчас отваливай, пока не

поздно, а то, если посчитать, ты мне должен еще десять песо.

Грузчик на ходу вскочил в кузов и махнул рукой Эрендире, но она со страху не ответила.

На этом самом пустыре, где сгрузили вещи, Эрендира с бабушкой быстро возвели нечто вроде палатки из цинкового листа и остатков персидских ковров.

Расстелили на земле две маленькие циновки и проспали всю ночь не хуже, чем в сгоревшем особняке, пока солнце, проникшее сквозь щели, не напекло им лица.

В то утро, против всякого обыкновения, бабушка сама занялась Эрендирой. Она разрисовала ей лицо сообразно идеалу покойницкой красоты, какая была в моде в пору ее юности, потом приклеила ей накладные ресницы и повязала на голове бант из органди, напоминавший огромную бабочку.

— Ты страшна, как смертный грех, — задумчиво протянула бабушка, — но это к лучшему: мужики, они мало что смыслят в женщинах.

Вскоре они услышали, а позже увидели мулов, устало ступавших по каменистой дороге. Эрендира по велению бабки сразу улеглась на циновку в романтической позе, точь-в-точь как молоденькая дебютантка перед поднятием занавеса. Опираясь на епископский жезл, старуха вышла из палатки и усеялась на кресло в ожидании первой добычи.

Подъехавший путник оказался почтарем. Ему было не больше двадцати, но выглядел он солиднее

из-за своей профессии. На нем была форменная одежда цвета хаки, гетры, пробковый шлем, а за поясом — пистолет. Сидя верхом на грудастом муле, почтарь вел в поводу второго, не такого крепкого, но навьюченного мешками с почтой.

Поравнявшись с бабкой, он приветственно помахал ей рукой и двинулся было дальше. Но старуха мигнула ему загадочно, приглашая заглянуть внутрь. Почтарь изогнулся и увидел возлежавшую на цинковке размалеванную Эрендиру в платье с траурной фиолетовой каймой.

— Нравится? — спросила бабка.

Парень наконец-то смекнул, что за товар ему предлагают.

— С голодухи сойдет, — ухмыльнулся.

— Пятьдесят песо.

— Фьюить! Она что, из чистого золота? — воскликнул почтарь. — Да на эти деньги я могу есть и пить целый месяц!

— Не жмись! — сказала бабка. — На авиапочте платят больше, чем священникам.

— Да я — обыкновенный почтарь. Пора знать, что авиапочту развозят на грузовичке.

— Говори, говори, а любовь нужна не меньше еды, — наседала старуха.

— Одной любовью сыт не будешь.

Старуха поняла: человек, живущий за счет чужих надежд, не пожалеет времени поторговаться всласть.

— Сколько у тебя с собой?

Почтарь спрыгнул на землю, извлек из кармана несколько мятых-перемятых бумажек и показал их бабке. Она их схватила жадно, точно пойманный мяч.

— Я сбавлю, — сказала, — но с условием: пусть о нас знают повсюду!

— Узнают и на другом конце света, будьте нате! — сказал развозчик почты. — Это по моей части.

Эрендира сняла накладные ресницы — они не давали даже моргнуть — и подвинулась на самый край циновки, освобождая место подвернувшемуся мужчине.

Едва он вошел в палатку, старуха резко задернула за ним занавесь, служившую дверью.

Сделка оказалась очень удачной. Распаленные рассказами служителя почты, понаехали отовсюду мужчины, чтобы самим удостовериться в прелестях Эрендиры. Вслед за ними привезли лотерейные столики и киоски со снедью. Последним примчался на велосипеде фотограф, который поставил в этом стойбище свой старинный фотоаппарат на штативе под траурно-черной накидкой, а позади — полотно с нарисованными озером и какими-то неправдоподобными лебедями.

Бабка обмахивалась веером, восседая на своем троне, и всем своим видом выказывала полное равнодушие к затеянному ей делу. Единственное, что ее заботило, — это порядок в очереди клиентов и правильность суммы, которую она с них брала за вход к Эрендире. Поначалу бабка была очень строга и чуть не отказала одному приличному клиенту, у ко-

торого не хватило всего пяти песо. Но через месяц-другой она усвоила уроки суровой действительности и принимала в доплату медальки с изображением святых, семейные реликвии, обручальные кольца — словом, всякие золотые вещицы, пробуя их на зуб, если не блестели.

За время, проведенное в городке, бабка собрала денег, и, купив ослика, они отправились с внучкой в глубь пустыни в поисках более прибыльных мест.

Она восседала на спине осла в носилках, прячась от недвижного солнца под скособоченным зонтом, который держала над ней Эрендира, семенявшая рядом. За ними шли четверо индейцев и несли все, что бабка прихватила с покинутого стана, — спальные циновки, подновленный трон, алебастрового ангела и баул с костями двух Амадисов. Вслед за караваном ехал на велосипеде фотограф, однако держался на расстоянии, будто он ни при чем.

Через полгода после пожара старуха составила для себя полное представление о ходе дел.

— Если так пойдет дальше, — сказала она Эрендире, — ты рассчитаешься со мной через восемь лет, семь месяцев и одиннадцать дней.

Она еще разок пересчитала все в уме, не переставая жевать зерна маиса, лежавшие под передником, в пришитой к поясу сумке, где она прятала и деньги.

— И учти, я не беру в расчет затраты на индейцев и на прочие нужды.

Сморенная тяжелым пропыленным зноем, Эрендира еле поспевала за осликом, безропотно слушая бабкины подсчеты, и едва сдерживала слезы.

— У меня так болят кости, будто в них толченое стекло, — проговорила девочка.

— Постарайся сейчас заснуть.

— Хорошо, бабушка.

Эрендира закрыла глаза и, глубоко вдохнув обжигающий воздух, зашагала, провалившись в сон.

Фермерский грузовичок, забитый клетками с птицей, катил по дороге, распугивая козлов, исчезающих в клубах поднятой пыли, и птичий гомон был потоком свежей воды в липком воскресном дурмане, окутавшем городок Святого Михаила Пустынника. За рулем сидел раздобревший фермер-голландец с задубелой от ветров кожей и медно-рыжими усами, которые он унаследовал от одного из прадедов. Рядом с ним сидел его первенец-сын по имени Улисс — золотистый юноша с отрешенными морскими глазами, похожий на падшего ангела. Голландец сразу заметил палатку, перед которой скопилась длинная очередь солдат местного гарнизона. Солдаты сидели на земле и, передавая друг другу бутыль, делали по глотку; их головы были прикрыты ветками миндаля, точно они прятались в засаде перед атакой.

Голландец спросил на своем заморском языке:

— За каким чертом здесь очередь?

— За женщиной, — простодушно ответил сын, — ее зовут Эрендира.

- Ты-то откуда знаешь?
- В пустыне все это знают.

Голландец вышел из машины у заезжего дома, а Улисс, чуть задержавшись, ловкими пальцами открыл отцовский портфель, брошенный на сиденье, и, вытащив оттуда пачку денег, рассовал их по карманам, а затем быстро закрыл замок. Той же ночью, пока отец спал, он вылез в окно гостиницы и, прижавшись к палатке Эрендиры, встал в очередь.

Вокруг шло великое гулянье. Пьяные в дым нобранцы плясали друг с дружкой, чтобы не пропадала дармовая музыка, а фотограф щелкал во тьме желающих, не жалея магниевую бумагу. Бабушка, следя за очередью, успевала пересчитывать банкноты, разложенные на коленях, и связывать их одинаковыми пачками, которые складывала в большую корзину. Солдат осталось с дюжину, но зато прибавились штатские. Улисс был крайним. У самого входа топтался солдат с угрюмым лицом. Бабушка его не пустила и даже не притронулась к его деньгам.

— Нет, милоч, — сказала, — я тебя не пушу ни за какие сокровища! Ты — траченный!

Солдат был из дальних мест и ничего не понял.

— Как это?

— Ты — порчун, у тебя на морде написано.

Она отстранила его, не касаясь рукой, и пропустила следующего солдатика.

— Давай ты, драгун! — сказала она, добродушно улыбаясь. — И не особо задерживайся. Родина тебя ждет.

Солдат не успел войти, как тут же вышел, потому что Эрендира взмолилась, чтобы позвали бабушку. Бабка повесила на руку корзину с деньгами и скрылась в палатке, где было тесно, но опрятно, прибрано.

В глубине на походной раскладушке пластом лежала измученная, измазанная солдатским потом Эрендира, которую била мелкая дрожь.

— Бабушка, — прорыдала она. — Я умираю.

Бабушка тронула внучкин лоб и, убедившись, что жара нет, принялась ее утешать:

— Да осталось всего ничего. Не больше десятка.

Эрендира не заплакала, нет, она завывала, как загнанный зверек. И старуха, сообразившая, что девочка перешла за грань мучительного страха, стала ласково гладить ее по голове, приговаривая:

— Ну-ну, будет, будет. Беда в том, что ты еще малосильная. Умойся лучше шалфейным отваром, это кровь освежает.

Когда Эрендира затихла, бабушка вышла на улицу и вернула солдату деньги.

— На сегодня все, ребята! — сказала она. — Завтра к девяти — пожалуйста.

Солдаты и штатские, сломав очередь, разразились криками. Бабка, не убоившись, решительно замахнулась своим жезлом на возмущенных клиентов.

— Ах вы изверги! Аспиды ненасытные! — надрывалась она. — Вы что думаете, она у меня железная? Вас бы на ее место! Кобели поганые! Выползки безродные!

Ей в ответ понеслась брань, куда более сочная, но она сумела взять верх над бунтовщиками и, опираясь на грозный жезл, не отходила от двери, пока не унесли лотки с фритангой и столики с лотереей. Старуха направилась было в палатку, как вдруг заметила Улисса, одиноко стоявшего в темноте безлюдного пустыря, где только что орали разъяренные клиенты; юноша, окаймленный зыбким ореолом, как бы выступал из ночного мрака в дивном сиянии собственной красоты.

— Ну а ты? — спросила бабка. — Где забыл свои крылья?

— Крылья были у моего дедушки, — ответил Улисс с детской простодушностью. — Только никто не верит.

Зачарованная бабушка глядела на него неотрывно.

— Лично я — верю, — сказала она. — Приходи утром с крыльями.

И вошла в палатку, оставив плененного страстью Улисса у дверей.

Эрендире немного полегчало после купанья. Перед тем как лечь, она надела коротенькую вышитую сорочку, но, вытирая волосы, все еще глотала слезы. Меж тем бабушка уже спала мирным сном.

И вот тут из-за спинки кровати медленно выросла голова Улисса. Эрендире увидела жаркие прозрачные глаза, но, прежде чем выговорить слово, утерла полотенцем лицо, думая, что это привиделось. Когда Улисс хлопнул ресницами, Эрендире еле слышно спросила:

— Ты кто?

Улисс приподнялся.

— Меня зовут Улисс, — сказал он. И, протянув украденные банкноты, добавил: — Вот они, деньги.

Эрендира оперлась обеими руками о кровать и, приблизив свое лицо к лицу Улисса, заговорила так, словно затеяла с ним веселую ребячью игру.

— Ишь какой! Встань-ка в очередь, — сказала.

— Я всю ночь простоял, — сказал он.

— А-а... Значит, жди до утра, — сказала девочка. — Мне знаешь как больно! Будто все почки отбиты...

В эту минуту во сне заговорила бабка.

— Вот уже двадцать лет, как не было дождя, — забормотала, — а тогда была такая страшная гроза, что ливень смешался с морской водой, и наутро, когда мы проснулись, в доме было полно рыб и ракушек, и твой дед, Амадис, царство ему небесное, своими глазами видел, как по воздуху проплыл светящийся спрут.

Улисс сразу спрятался за спинку кровати. Но Эрендира улыбнулась лукаво.

— Да не бойсь, — сказала. — Бабушка во сне говорит что ни попадя, но она не проснется, даже если земля дрогнет.

Улисс снова вырос из-за кровати. Эрендира, посмотрев на него с веселой ласковой улыбкой, быстро убрала с циновки несвежую простыню.

— Ну-ка, — сказала, — помоги мне сменить постель.

Улисс смело вышел из-за кровати и взял простыню за оба конца. Простыня была куда шире циновки, и Эрендире с Улиссом не сразу удалось сложить ее. Занимаясь простыней, они каждый раз приближались друг к другу.

— Мне до смерти хотелось тебя увидеть, — сказал он. — Кругом говорят, что ты невиданная красавица, и это — правда!

— Но я скоро умру, — сказала девочка.

— Моя мама говорит, что те, кто умрет в пустыне, попадут в море, а не на небеса, — сказал Улисс.

Эрендира свернула грязную простыню и положила чистую, выглаженную.

— А я не знаю, какое оно, море...

— Оно как пустыня, но из воды, — сказал Улисс.

— Значит, там нельзя ходить?

— Мой папа знал одного человека, который ходил по воде, — сказал Улисс, — но это было давным-давно.

Эрендира слушала как зачарованная, хотя ее клонило в сон.

— Приходи рано утром и будешь первым, — сказала.

— Мы с отцом уезжаем на рассвете, — сказал Улисс.

— И больше не вернетесь?

— Кто знает, когда, — ответил юноша. — Мы тут совсем случайно, потому что сбились с дороги на границу.

Эрендира задумчиво глянула на спящую бабушку.

— Ладно, — сказала, — давай деньги.

Улисс протянул ей все бумажки. Эрендира сразу легла на постель, но Улисс не тронулся с места. В самую ответственную минуту он оробел и не мог унять дрожь.

Эрендира потянула его за руку, но тут поняла, что с ним случилось. Ей хорошо был знаком этот страх.

— Ты в первый раз? — спросила.

Улисс не ответил, лишь улыбнулся потерянно и виновато.

— Дыши глубже, — сказала Эрендира. — Такое бывает поначалу, а потом хоть бы что.

Она уложила его рядом и, раздевая, успокаивала, как ребенка.

— А звать тебя как?

— Улисс.

— Не наше имя, вроде как у гринго...

— Нет, как у одного мореплавателя.

Сняв с Улисса рубашку, Эрендира покрыла его грудь быстрыми поцелуями и принялась к коже.

— Ты будто из золота, — удивилась. — А пахнешь какими-то цветами.

— Нет, наверно, апельсинами, — сказал Улисс и, сразу успокоившись, улыбнулся загадочно. — Птицы — это для отвода глаз, — добавил, — а на самом деле мы контрабандой возим через границу апельсины.

— Разве апельсины — контрабанда?

— Наши — да! — сказал Улисс. — За каждый платят пятьдесят тысяч песо.

Эрендира впервые рассмеялась за такое долгое время.

— Что мне больше всего нравится в тебе, — сказала, — это как ты всерьез рассказываешь такие небылицы.

Она вдруг оживилась, сделалась разговорчивой, будто этот невинный юноша враз сумел изменить не только ее настроение, но и склад характера.

Бабушка, в самой близости от роковой встречи, по-прежнему говорила во сне.

— И вот в первых числах марта тебя принесли домой, — бормотала, — ты походила на ящерку, завернутую в пеленки. Амадис, твой отец, еще молодой и красивый, так ликовал в тот день, что велел нагрузить цветами двадцать телег. Он ехал по улицам, крича от радости и разбрасывая эти цветы, отчего весь городок стал золотистым, как море.

Старуха бредила с неослабной страстью несколько часов кряду. Но Улисс ничего не слышал, потому что Эрендира любила его так горячо, так искренне, что потом стала любить за полцены, а потом до самого рассвета — даром.

Миссионеры, подняв распятия, встали плечом к плечу посреди пустыни. Ветер, такой же свирепый, как ветер Несчастья, трепал их холщовые монашеские одеяния, их клочковатые бороды и грозился сбить с ног. За ними высилась монастырская обитель в колониальном стиле с маленькой колокольной, выступавшей за суровыми оштукатуренными стенами.

Самый молодой миссионер, их глава, указал перстом на глубокую трещину в затвердевшей глине:

— Эту черту не переступать!

Четыре индейца, что несли бабку в дощатом паланкине, сразу остановились.

Старухе было уже невозможно сидеть на неудобной скамье, ее замучили зной, пыль и липкий пот, но в лице оставалась все та же природная гордость. Эрендира шла рядом. За паланкином следовали гуськом восемь индейцев с тяжелой поклажей, а замыкал шествие фотограф на велосипеде.

— Пустыня — ничья! — изрекла бабка.

— Она Богова, — ответил миссионер. — А ваш богомерзкий промысел попирает Его святой закон.

Бабушка тотчас распознала чисто кастильский выговор и решила уйти от лобового столкновения с миссионером, дабы не набить себе шишек о твердость его духа. Она сразу сменила тон:

— Не понимаю, о чем ты толкуешь, сынок.

Миссионер кивнул в сторону Эрендирь:

— Эта девочка — несовершеннолетняя.

— Но она — моя внучка!

— Тем хуже, — отрезал монах. — Отдайте ее под наше покровительство добром, иначе мы предпримем другие меры.

Бабка не ожидала такого оборота дела.

— Что ж, благородный сеньор, — отступилась она в испуге. — Но рано или поздно я тут проеду, увидишь.

Спустя три дня после встречи с миссионерами, когда Эрендира с бабушкой спали в деревушке по со-

седству с монастырем, к их палатке осторожно и беззвучно подползли боевым патрулем шесть невидимых в ночи существ. Это были послушницы в балахонах домотканого полотна — сильные молодые индианки, которых выхватывал из темноты зыбкий лунный свет.

Не задев тишины, послушницы накрыли спящую Эрендиру москитной сеткой и осторожно вынесли, как большую, но хрупкую рыбу, попавшую в лунный невод.

Не было способа, который не испробовала бабка, чтобы выманить девочку из монастырской обители. И лишь когда не оправдались все ее планы, от самых простых до самых хитроумных, она обратилась за помощью к гражданским властям, которые единолично представлял человек в военном чине. Она застала его в патио, голого по пояс, в тот самый час, когда он расстреливал из винтовки тучку, одиноко темневшую в раскаленном небе. Местный правитель, оказывается, пытался продырявить ее, чтобы пошел дождь, но все же прервал бесплодную стрельбу, чтобы выслушать старуху.

— Я ничем не могу помочь, — сказал. — Миссионеры по закону имеют право держать у себя девочку до ее совершеннолетия. Или пока ее не отдадут замуж.

— Так зачем, собственно, вас держат алькальдом? — спросила бабка.

— Чтобы я добился дождей.

Поняв наконец, что одинокая тучка за пределами его досягаемости, он бросил свое государственное дело и целиком занялся бабушкой.

— Вам главное — найти государственного человека, который мог бы за вас поручиться. Кого-нибудь, кто в письменном виде удостоверит вашу моральную устойчивость и добронравие. Вы, случаем, не знакомы с сенатором Онесимо Санчесом?

Бабка, сидевшая под палящим солнцем на табурете, слишком узком для ее монументального зада, сказала с величавой яростью:

— Я беззащитная женщина, брошенная на произвол судьбы в этой огромной пустыне.

Алькальд жалостливо скосил на нее правый глаз, сощуренный от жары.

— Тогда не теряйте зря времени, сеньора, — сказал, — поставьте на этом крест.

Но не тут-то было. Бабка поставила свою палатку напротив монастыря и села думать думу, будто воин, решивший в одиночку взять приступом город-крепость. Бродячий фотограф, который уже хорошо знал нрав старухи, приладил свои вещички к багажнику и собрался в путь. Но призадумался, увидев, как она сверлит глазами монастырь, сидя на самом солнцепеке.

— Поглядим-посмотрим, кто первый не выдержит, — сказала бабка, — я или они.

— Они здесь три сотни лет и ничего — выдерживают, — бросил фотограф, — так что я поехал.

Только тут бабушка заметила велосипед с привязанной поклажей.

— Куда едешь?

— Куда глаза глядят. Свет велик, — сказал фотограф и поехал.

— Не так уж велик, как тебе думается, неблагодарный мерзавец.

Бабка озлилась и даже не повернула головы в его сторону, боясь хоть на миг отвести взор от монастыря. Она не сводила глаз с его стен в течение многих дней, раскаленных добела, и многих ночей с шальными ветрами; она смотрела на монастырь неотрывно, даже в дни духовных упражнений, когда из монастыря не вышла ни одна живая душа. Индейцы сделали возле ее палатки пальмовый навес и привязали там гамаки. Но бабка бодрствовала допоздна, восседая на троне, и, когда ее одолевал сон, жевала и жевала сырые зерна, доставая их из сумки, пришитой к поясу, с победной невозмутимостью лежащего быка.

Однажды ночью совсем рядом медленно проехала колонна крытых грузовиков, освещенных гирляндой цветных фонариков, которые придавали им вид призрачных сомнамбулических алтарей. Бабка тут же смекнула, что к чему, потому что они были в точности как грузовики ее Амадисов. Последний, чуть отстав от колонны, остановился, из кабинки вылез водитель, чтобы поправить груз в кузове. Он был одной масти с ее Амадисами — та же шляпа с круто загнутыми полями, те же сапоги за колено, два патронташа на скрещенных ремнях, два пистолета и карабин. Поддавшись искушению, бабка окликнула водителя:

— А знаешь, кто я?

Он навел карманный фонарик и, глядя на ее помятое от бессонных ночей лицо, на погасшие от ус-

талости глаза, на повисшие лохмы волос, увидел женщину, о которой, вопреки ее возрасту, вопреки безжалостному свету фонаря, можно сказать, что в свои годы она была неземной красавицей. Когда водитель удостоверился, что видит ее впервые в жизни, он погасил фонарик.

— Могу поручиться, что вы — не Пресвятая Дева Скоропомощница.

— Какая Дева, — сладким голосом сказала бабка, — я — Дама.

Водитель невольно схватился за пистолет:

— Чья Дама?

— Амадиса Первого.

— Стало быть, вы с того света, — сказал он настороженно. — А что вам, собственно, надо?

— Помогите мне вернуть мою внучку, внучку Амадиса Первого, потому что ее упрятали в монастырь.

Водитель понемногу справился со страхом.

— Ты ошиблась дверью, — сказал он, — и если считаешь, что мы вмешиваемся в дела Бога, значит, ты не та, за кого себя выдаешь, и в глаза не видела Амадисов, да и не смыслишь ни уха ни рыла в нашей работенке.

В тот предрассветный час бабка почти не спала и, кутаясь в шерстяную шаль, жевала зерна. Мысли ее путались, и бред неудержимо рвался наружу, но она не смыкала глаз и все сильнее прижимала руку к сердцу в страхе, что ее задушат воспоминания о доме с алыми цветами у самого моря, где она была

счастлива. Так она просидела до той поры, когда пробил первый удар монастырского колокола, когда зажглись в окнах первые огоньки и вся пустыня наполнилась запахом хлеба, испеченного до утреннего благовеста. Вот тут бабка сдалась усталости и вверилась обманной надежде, что вставшая чуть свет Эрендира только и думает, как бы удрать и вернуться к ней.

Меж тем Эрендира спала крепким сном все ночи с тех пор, как попала в монастырь. Ей остригли волосы садовыми ножницами почти наголо, обрядили в домотканый балахон, какой носили затворницы, всучили в первый же день ведро с разведенным мелом, швабру и велели белить ступени лестниц после каждого, кто по ним пройдет. Это был адский труд, потому что по лестницам беспрерывно подымались и спускались миссионеры в грязных ботинках и послушницы с корзинами, но после смертной галеры, какой стала для девочки постель, все дни в монастыре казались ей светлым воскресеньем. Да и не она одна возилась до поздней ночи, потому что монастырь клал все силы не столько на борьбу с кознями Дьявола, сколько на борьбу с пустыней.

Эрендира видела, как послушницы-индианки ловко бьют по загривку коров, чтобы стояли смирно, пока их доят, видела, как прыгают часами на досках, отжимая сыр, как помогают окотиться козам. Видела, как они, взмокшие от пота, точно портовые грузчики, таскают воду из дальнего источника, как усердно поливают огород, который другие

послушницы развели, отчаянно мотыжа каменистую почву пустыни, чтобы вырастить хоть какую-то зелень. Своими глазами она видела преисподнюю монастырской пекарни и монастырской гладильни. Видела монашенку, которая, погнавшись во дворе за боровом, схватила его за уши, споткнулась, и боров волок ее в жидкой грязи, пока не подросли две послушницы в кожаных фартуках и одна из них не заколола его мясницким ножом. Все трое были заляпаны с ног до головы кровью и глинистой жижей. Эрендира видела в дальнем углу монастырской больницы чахоточных монашек в смертных рубашках; сидя на террасе, они смиренно вышивали простыни для новобрачных, ожидая последней воли Всевышнего, а тем временем отцы-миссионеры произносили душеспасительные проповеди в песках пустыни. Эрендира жила незаметно, в тени, открывая каждый день все новые и новые воплощения ужаса и красоты, о которых даже и не подозревала в узком мирке опостылевшей постели, и никто — ни самые бойкие, ни самые тихие послушницы не могли добиться от нее ни слова с тех пор, как она попала в монастырь. Однажды утром, разводя в ведре мел, Эрендира услышала струнную музыку, которая показалась ей прозрачнее, чем свет в пустыне. Ошеломленная этим чудом, она заглянула в огромный пустой зал с голыми стенами и большими стрельчатыми окнами, сквозь которые врывалась, дробясь и оседая, ослепительная ясность июня. И увидела посреди зала монашенку поразительной красоты — она ей ни-

когда не встречалась, — которая играла на старинном клавесине Пасхальную ораторию. Эрендира слушала чуть дыша, не мигая, и очнулась, когда зазвонил колокольчик к трапезе. После обеда она белила ступени, пока не дождалась часа, когда послушницы угомонились и перестали сновать вверх-вниз, и вот, оставшись наконец одна, там, где не было ни единой души, впервые за все это время сказала вслух:

— Я — счастлива.

У бабки иссякли последние надежды на то, что Эрендира удерет из монастыря, но она по-прежнему держала осаду, не зная толком, что предпринять, и лишь в день Пятидесятницы ее осенила счастливая мысль... В канун этого праздника миссионеры рыскали по всей пустыне, отлавливая незамужних беременных женщин, чтобы обвенчать их с сожителями. Миссионеры добирались до забытых Богом селений на полуразбитом грузовичке, в котором везли огромный сундук с яркими побрякушками и четырех хорошо вооруженных солдат. Склонить женщин к браку было нелегкой задачей — сожительницы оборонялись от Божьей благодати, как могли, не напрасно страшась, что, как только станут законными женами, их мужья свалят на них всю тяжелую и грязную работу, а сами будут разлеживаться в гамаках. Приходилось уламывать их обманом, растворя суровую волю Бога в сиропе самых убедительных слов их родного языка, дабы не запугать сверх меры. Однако даже самые несговорчивые сдавались

при виде сережек из сусального золота. А с мужчинами, если женщины соглашались добром, разговор был короткий: ударами прикладов их вытряхивали из гамаков, связывали по рукам и ногам и, затолкнув в кузов, везли венчаться.

Несколько дней кряду мимо бабки в сторону монастыря проскакивал грузовичок, набитый беременными невестами, но сердце не подсказывало бабке, что это — долгожданный счастливый случай. Ее озарило лишь на праздник Пятидесятницы, когда она услышала треск разноцветных ракет и перезвон колоколов и увидела среди веселой нищей толпы, валившей на праздник, множество брюхатых женщин в свадебных венках и со свечками. Они вели под руку своих сожителей, которые должны были стать законными мужьями после общего обряда венчания.

В самом конце шествия брел юноша, невинный сердцем, в рванье, с жесткими, подстриженными в кружок волосами, как у всех индейцев. Он нес большую пасхальную свечу, перевитую шелковой лентой. Бабка окликнула его.

— Эй, сынок, — крикнула уверенным голосом, — а ты что собрался делать на этой гулянке?

Оробевший молодой индеец осторожно нес праздничную свечу. Да и говорить ему было трудно из-за длинных, как у осла, зубов.

— Так ведь монахи ведут меня к Первому причастию.

— Сколько тебе заплатили?

— Пять песо.

Бабка вытащила из матерчатой сумки пачку денег, при виде которой юноша опешил.

— Я дам тебе двадцать, — сказала она, — не за причастие, нет, а чтобы ты женился.

— Это на ком?

— На моей внучке.

Вот так случилось, что Эрендиру отдали замуж прямо в монастырском дворе. Она была все в том же балахоне затворницы, но с кружевной мантильей на голове, которую ей подарили послушницы, и знать не знала, как зовут супруга, которого ей купила бабушка. Настоящей мученицей она стояла на коленях на окаменелой серой земле, выдерживая козлиную вонь, которой разило от двухсот беременных невест, выдерживая грозную латынь Послания Святого Павла, которое ей вбивали в голову, точно кувалдой, под палящим солнцем. Выдерживая со смутной надеждой, ибо миссионеры, не сумевшие найти способ, чтобы помешать этой нежданной и ловко устроенной свадьбе, тянули, как могли, пообещав девочке оставить ее в монастыре. И все же под конец этой торжественной церемонии, проходившей в присутствии папского префекта и того военного алькальда, который расстреливал тучи, а также ее новоявленного супруга и невозмутимой бабушки, Эрендира на глазах у всех снова попала под власть тех страшных чар, что заворожили ее с самого дня рождения. Когда Эрендиру спросили, какова будет ее доподлинная и окончательная воля, она без вздоха сомнения проговорила:

— Я хочу уйти отсюда, — и, кивнув в сторону супруга, добавила: — только не с ним, а с моей бабушкой.

Улисс убил полдня, пытаясь украсть апельсин с плантации своего папаша, но тот не спускал с него глаз, пока они обрезали больные деревья, да и мать, не выходя из дому, стерегла каждый его шаг. Словом, Улиссу пришлось оставить свои помыслы, по крайней мере на день, и, хочешь не хочешь, помогать отцу до тех пор, пока они не подстригли все больные деревья.

В огромной апельсиновой роще стояла притаенная тишина. Дом был деревянный, под латунной крышей, с медными сетками на окнах и большой террасой на высоких опорах с неприхотливыми цветами в горшках.

На террасе в венском кресле-качалке полулежала мать Улисса. К ее вискам были приложены паленые листья, чтобы унять головную боль, но ее взгляд чистокровной индианки следовал за сыном, точно сноп незримых лучей, которые пронизывали самые глухие места огромного сада. Она была очень красива, намного моложе своего мужа и не только носила платье того же кроя, какие шьют себе женщины ее племени, но и знала самые древние тайны своих предков.

Когда Улисс вернулся в дом с садовыми ножницами, мать попросила его подать со столика лекарства, которые она принимала в четыре часа. Едва он

их коснулся, пузырек и стакан изменили свой цвет. Из чистого озорства Улисс притронулся к хрустальному графину, стоящему рядом, и он мгновенно стал синим. Мать не сводила глаз с сына, запивая лекарство, и, уверившись, что ей не почудилось, спросила на языке гуахира:

— Давно это с тобой?

— Как побывали в пустыне, — сказал Улисс на том же языке. — Такое у меня только с тем, что из стекла.

В доказательство он тронул все стаканы по очереди, и они окрасились в разные цвета.

— Это бывает только от любви, — сказала мать. — Кто она?

Улисс промолчал. В этот момент на террасе показался отец с веткой, унизанной апельсинами; он не понимал их языка.

— О чем разговор?

— Ни о чем особенном.

Мать Улисса не понимала по-голландски и, когда муж прошел в дом, спросила на своем языке:

— Что он тебе сказал?

— Так, пустяки.

Он потерял из виду отца, но потом снова углядел его в окне кабинета. Мать, дождавшись, когда они остались вдвоем, переспросила с нетерпением:

— Ну, кто она?

— Никто, — упорствовал Улисс.

Он ответил рассеянно, потому что не спускал глаз с отца. Улисс увидел, как тот набрал шифр и

положил апельсины в сейф. И пока Улисс следил за отцом, мать следила за Улиссом.

— Что-то ты давно не ешь хлеба.

— Я его не люблю.

Лицо матери сразу оживилось.

— Неправда, — сказала она. — Тебя губит любовь. Те, у кого такая любовь, не могут есть хлеба.

Волнение индианки смешалось с угрозой и в голосе, и во взгляде.

— Лучше скажи, кто она! Не то я силой искупаю тебя в наговорной воде.

Меж тем голландец открыл сейф и, положив туда апельсины, захлопнул бронированную дверь. И тогда Улисс, отвернувшись от окна, сказал с явным раздражением:

— Я же ответил — никто. Не веришь, спроси отца.

Голландец вырос в дверях с обтрепанной Библией под мышкой и стал раскуривать свою шкиперскую трубку. Жена спросила его на испанском:

— С кем вы встретились в пустыне?

— Ни с кем, — сказал муж, занятый своими мыслями. — Не веришь, спроси у сына.

Он уселся в дальнем углу коридора, потягивая трубку, пока не докурил ее до конца. А затем, раскрыв наугад Библию, стал читать вслух отрывки отсюда-отсюда на мерно текущем голландском языке.

Улисс обдумывал все с таким напряжением, что не мог заснуть и после полуночи. Он проворочался в гамаке еще час, силясь унять боль воспоминаний, пока сама эта боль не пробудила в нем решимость.

Наскоро надев ковбойские штаны, рубашку из шотландки и высокие сапоги, Улисс выпрыгнул в окно и удрал из дому на грузовичке с птицами в клетках. Проезжая через апельсиновую рощу, он, как бы мимоходом, сорвал три спелых апельсина, которые не решался украсть накануне.

Весь остаток ночи он катил по пустыне, а с рассветом стал спрашивать всех и каждого, где сейчас Эрендира. Но никто толком не сказал ничего. В конце концов ему повезло: он узнал, что Эрендира следует за свитой сенатора Онесимо Санчеса, который совершал предвыборный вояж, и что скорее всего он уже в Новой Кастилии. Но выяснилось, что он вовсе не там, а в другом городке, и Эрендиры при нем нет, так как бабка добилась к тому времени письма, в котором сенатор самолично поручился за ее высокую нравственность, и, значит, теперь перед ней открывались самые прочные запоры на дверях пустыни. На третьи сутки Улисс повстречал развозчика почты, и тот объяснил, где их искать.

— Они едут к морю, — сказал, — и поторопись, потому что эта старая стерва собралась на остров Аруба.

Двинувшись в путь, Улисс лишь во второй половине дня узрел огромный, линиялый от времени шатер, который бабка откупила у прогоревшего цирка. Разъездной фотограф вернулся к ним, убедившись, что мир воистину не так велик, как ему думалось, и натянул рядом с шатром свои идиллические картины. Духовой оркестр подогревал клиентов Эрендиры томными звуками вальса.

Улисс дождался своей очереди, и, когда вошел, первое, что бросилось ему в глаза, — это порядок и чистота в шатре. Бабкина кровать вновь обрела свое вице-королевское величие, статуя ангела стояла на своем месте рядом с погребальным баулом Амадисов, но вдобавок появилась оцинкованная ванна на львиных лапах. Эрендира лежала нагая, умиротворенная и лучилась чистым сиянием в свете, что сочился сквозь шатер. Она спала с открытыми глазами. Улисс приблизился к ней с апельсинами в руках и только тогда заметил, что Эрендира смотрит на него невидящими глазами. Он провел рукой перед ее лицом и окликнул именем, которое придумал в мыслях о ней:

— Ариднерэ!

Эрендира проснулась. При виде Улисса она испугалась своей наготы, глухо вскрикнула и спряталась под простыней.

— Не смотри на меня, — сказала, — я страшная.

— Ты вся апельсинового цвета, — проговорил Улисс. И поднес к ее глазам апельсины. — Посмотри сама.

Эрендира открыла глаза и увидела, что апельсины такого же цвета, как ее кожа.

— Сегодня не оставайся, не надо, — сказала Эрендира.

— Я пришел, только чтобы показать тебе это, — сказал Улисс. — Глянь-ка.

Он содрал кожуру апельсина ногтями, разломил его и показал Эрендире, что внутри. В самой сердцевине плода сверкал бриллиант чистой воды.

— Вот такие апельсины мы возим через границу!
— Но ведь это живые апельсины! — ахнула Эрендира.

— Конечно, — улыбнулся Улисс, — их выращивает мой папа.

Эрендира не верила своим глазам. Она отняла руки от лица и, взяв осторожными пальцами бриллиант, смотрела на него в изумлении.

— С такими тремя мы сможем объехать весь мир, — сказал Улисс.

Эрендира вернула ему бриллиант, и лицо ее сразу погасло. Улисс не отставал.

— К тому же у нас есть грузовичок — и еще... вот смотри!

Он вытащил из-за пазухи допотопный пистолет.

— Я смогу уехать только через десять лет, — сказала Эрендира.

— Нет, ты уедешь, — настаивал Улисс. — Ночью, когда эта белая китиха уснет, я буду тут, рядом, и прокричу совой.

Он так похоже изобразил уханье совы, что глаза Эрендиры впервые за все время улыбнулись.

— Значит, это моя бабушка?

— Кто — сова?

— Нет, китиха.

Оба засмеялись, но Эрендира вспомнила о своем.

— Никто никуда не может уехать без разрешения своей бабушки.

— Да ей и не надо говорить.

— Она сама узнает, — вздохнула Эрендира. — Она все видит во сне.

— Когда ей приснится, что ты уезжаешь, мы будем по ту сторону границы. Проедем, как контрабандисты... — сказал Улисс.

Он схватился за пистолет, точно герой ковбойского фильма, и изобразил звуки выстрелов, чтобы подбодрить Эрендиру своей отвагой. Эрендира не сказала ни да ни нет, но глаза ее вздохнули, и она грустно поцеловала Улисса на прощание. Улисс расстроганно шепнул:

— Завтра мы увидим море и корабли.

В тот вечер, чуть позже семи, когда Эрендира расчесывала бабке волосы, снова задул ветер ее Несчастья. В шатре укрылись индейцы-носильщики и хозяин духового оркестра, ожидавшие жалованья. Бабка, только что пересчитавшая банкноты, которые держала в большом ларе, рядом с собой, и, проверив свои записи в приходно-расходной книге, выдала деньги старшему из индейцев.

— Вот тебе, — сказала она, — двадцать песо за неделю, минус восемь за еду, минус три за воду, минус пятьдесят сентаво — почти даром — за новые рубашки. Итого восемь песо пятьдесят сентаво. Пересчитай при мне.

Старший пересчитал деньги, и все четверо индейцев удалились, почтительно кланяясь.

— Спасибо, белолицая сеньора.

Следующим на очереди был хозяин оркестра. Бабка заглянула в свою толстую тетрадь и окликнула фотографа, который пытался прилепить к муфте аппарата заплату из пластыря.

— Ну так как? — спросила она. — Платишь или не платишь четвертую часть за музыку?

Фотограф даже не поднял головы.

— На моих снимках нет музыки.

— Но под музыку люди так и бегут фотографироваться, — возразила бабка.

— Ничего подобного, — сказал фотограф, — эта горе-музыка напоминает о покойниках, и потому все на снимках с закрытыми глазами.

Тут вмешался хозяин оркестра.

— Музыка ни при чем, — сказал он, — это от вспышек магния.

— Нет, от музыки, — упорствовал фотограф.

Бабка прекратила спор разом.

— Ну и жох, — сказала она. — Вон какой успех у сенатора Онесимо Санчеса, а все потому, что при нем музыканты. — И со всей суровостью заключила: — В общем, или плати, что положено, или ищи своего счастья в другом месте. Зачем это бедной девочке самой платить за все? Где справедливость?

— Я-то свое возьму! — сказал фотограф. — Я, к вашему сведению, художник, а не кто-нибудь.

Бабка передернула плечами и занялась музыкантом. Она протянула ему пачку денег в полном соответствии с записью в книге.

— Всего сыграно двести пятьдесят четыре пьесы, — сказала она. — Пятьдесят сентаво за каждую плюс тридцать две по воскресеньям и в праздники — по шестьдесят сентаво. Стало быть — сто пятьдесят шесть песо двадцать сентаво.

Музыкант нахмурился.

— Нет, сто восемьдесят два песо и сорок сентаво, — сказал он. — Вальсы — дороже.

— С чего это?

— Они самые грустные.

Бабка все-таки всучила ему деньги.

— Значит, на этой неделе сыграешь две веселенькие вещи за каждый вальс, что я тебе должна, — и мы квиты.

Музыкант силился понять бабкину логику, но не смог и совсем запутался.

В этот момент страшным ударом ветра чуть не сорвало с места шатер, и следом, в наступившей внезапно тишине, четко и зловеще ухнула сова.

Эрендира не знала, как скрыть волнение. Она захлопнула крышку сундучка с деньгами и задвинула его под кровать. Бабка почувствовала, как дрожит внучкина рука, когда взяла у нее ключ.

— Не бойся, — сказала, — ночью, в ненастье всегда ухают совы.

Однако и ей стало не по себе, когда она увидела, что фотограф, закинув аппарат на плечо, собрался уходить.

— Хочешь, оставайся здесь до утра, — сказала. — В такую ночь смерть бродит повсюду.

Фотограф тоже услышал протяжные крики совы, но стоял на своем.

— Оставайся, голубчик, — наседала бабка, — как-никак, я к тебе привязалась.

— С уговором — за музыку я не плачу, — сказал фотограф.

— О нет! — возразила бабка. — Это — ни за что!
 — Вот так, — бросил фотограф, — да вы вообще
 никого не любите.

Бабка позеленела от ярости.

— Тогда убирайся отсюда! Ублюдок!

Чувствуя себя оскорбленной до глубины души, она крыла его почем зря, пока Эрендира готовила ее ко сну. «Поганец, — шипела бабка, — что может знать этот жалкий выползок о чужом сердце!» Эрендира не слышала бабушкиных слов: в те короткие минуты, когда стихал ветер, совиный крик звал ее все настойчивее, надрывнее, и она, бедная, терзалась в нерешительности.

Бабка улеглась, исполнив прежде весь ритуал, какой когда-то неукоснительно соблюдался в ее старинном особняке. Эрендира долго и старательно обмахивала веером бабку, и та, пересилив наконец свой гнев, мерно задышала, обретая себя.

— Завтра встань пораньше, — сказала, — и завари траву, чтобы мне искупаться до людей.

— Хорошо, бабушка.

— А потом найди время и простирни одежду индейцев, тогда мы удержим с них деньги прямо на следующей неделе. И спи помедленнее, чтоб не устать. Завтра у нас четверг — самый длинный день недели.

— Хорошо, бабушка.

— И накорми страуса.

— Хорошо, бабушка.

Она оставила веер в головах кровати и зажгла две свечи возле сундука с костями покойников. Бабка, уже во сне, запоздало распорядилась:

— Не забудь зажечь свечи Амадисам.

— Хорошо, бабушка.

Эрендира знала: раз бабушка начала бредить, значит, ее не добудиться.

Девочка прислушалась к завыванию ветра за стенами шатра, но, как и в прошлый раз, не угадала, что он принесет ей Несчастье. Когда вновь раздалось уханье совы, Эрендира выглянула в темень, и в конце концов ее мечта о воле взяла верх над грозными чарами бабушки.

Но не успела Эрендира отойти на пять шагов от шатра, как нос к носу столкнулась с фотографом, который привязывал пожитки к багажнику велосипеда. Его понимающая улыбка приободрила девочку.

— Лично я ничего не знаю, ничего не видел и не стану платить за музыку, — сказал фотограф.

Он поклонился на все стороны и уехал. А Эрендира помчалась прочь от шатра и скрылась в крошечной тьме, где сквозь ветер кричала сова.

На сей раз бабка незамедлительно обратилась к властям. Военный комендант чуть не вывалился из гамака, как только она в шесть утра ткнула ему в лицо письмо сенатора. Отец Улисса дожидался в дверях.

— Ну как, черт побери, я буду читать? — заорал он. — Меня этому не учили!

— Это рекомендательное письмо сенатора Оне-симо Санчеса, — процедила бабка.

Комендант без лишних слов схватил винтовку, висевшую рядом с гамаком, и громовым голосом стал отдавать приказы подчиненным.

Через пять минут военная машина с солдатами неслась наперекор ветру, который заметал следы беглецов. Впереди, рядом с водителем, сидел сам комендант. Позади — голландец с бабкой, а на подножках с обеих сторон пристроились полицейские.

Недалеко от городка они задержали колонну грузовиков, крытых брезентом. Люди, прятавшиеся в кузовах, приподняли брезент и наставили на машину пулеметы и винтовки. Комендант спросил у водителя первого грузовика, на каком расстоянии отсюда им повстречался фермерский грузовичок с птичьими клетками. Водитель яростно рванул с места.

— Мы не легавые, — бросил на ходу, — мы — контрабандисты.

Когда перед самым носом коменданта проскочили один за одним закопченные стволы пулеметов, он поднял руки и улыбнулся.

— Стыдоба! — крикнул вдогон. — Хоть бы не разъезжали среди бела дня!

На борту последнего грузовика была выведена надпись: *«Я мечтаю о тебе, Эрендира»*.

Чем дальше военная машина удалялась к северу, тем суше становился ветер, а солнце, озлившись на ветер, палило так, что в машине с поднятыми стеклами нечем было дышать от жарищи и пыли.

Бабка первая углядела фотографа, он жал изо всех сил на педали в том же направлении, и единственной защитой от солнечного удара ему служил носовой платок, повязанный на голову.

— Вон он! — заорала бабка. — В сговоре с ними, ублюдок!

Комендант приказал одному из полицейских заняться фотографом.

— Бери его и жди здесь, — сказал он. — Мы скоро вернемся.

Полицейский спрыгнул с подножки и, напрягая голос, дважды рявкнул: «Стой! Стой!»

Но из-за встречного ветра фотограф решительно ничего не услышал. Когда его обогнала военная машина, старуха сделала ему какой-то загадочный жест. Фотограф принял это за приветствие, улыбнулся и дружески помахал рукой. Не услышав выстрела, он перевернулся в воздухе и рухнул замертво с разможенной головой на велосипед, так и не узнав, за что и почему его настигла пуля.

Ближе к полудню преследователи увидели перья, которые уносило обжигающим суховеем. Прежде им никогда не встречались такие перья, но голландец тотчас признал их, потому что это были перья его птиц, повыдернутые ветром. Водитель изменил направление, нажал на газ, и через полчаса, а то и раньше они заметили на горизонте грузовичок.

Когда Улисс увидел в боковое зеркальце приближавшуюся машину, он попытался оторваться от нее, но ничего не мог выжать из мотора. Все это время они ехали без остановок и устали до полусмерти от бессонной ночи и жажды. Эрендира, задремавшая на плече Улисса, очнулась в страхе. Увидев машину, уверенно настигавшую их грузовичок, она с наив-

ной отвагой схватила пистолет, лежавший в перчаточном ящике.

— Без толку, — сказал Улисс. — Это пистолет Френсиса Дрейка.

Он ударил по нему в ярости раз-другой и выбросил в окно. Комендантская машина обогнала разболтанный грузовичок с птицами, наголо ошипанными ветром, и, круто развернувшись, встала поперек дороги.

Я познакомился с бабкой и ее внучкой в пору их самого пышного расцвета, однако заинтересовался всеми подробностями этой истории много позже, когда Рафаэль Эскалона поведал нам в своей песне о ее трагической развязке, и мне подумалось — об этом стоит рассказать. В ту пору я торговал энциклопедиями и медицинскими книгами, разъезжая по провинции Риоача. Альваро Сепеда Самудио тоже мотался по этим краям, сбывая аппараты для производства охлажденного пива. Он усадил меня в свой грузовичок, сказав, что ему нужно поговорить со мной о чем-то важном, и, колеся по всем селениям, мы так много говорили о всяких пустяках и выпили столько пива, что не заметили, как и когда пересекли пустыню и очутились на самой границе. Там-то и стоял шатер бродячей любви, над которым красовались натянутые полотнища с призывными словами: *«Нет слаще Эрендиры!»*, *«Приходите снова — Эрендира ждет!»*, *«Без Эрендиры жизнь не жизнь!»*. В нескончаемую очередь сбывались мужчи-

ны разного достатка и разных стран, и эта огромная очередь походила на змею с человеческими позвонками, которая, подрагивая в полудреме, растянулась через площади, дворы, крытые рынки и шумные утренние торжища, через все улицы суматошного города, где сновали заезжие торговцы. Каждая улочка была притоном, каждая развалюха — питейным заведением, каждая дверь — пристанищем беглых людей. Невнятная разноголосица музыки и протяжные выкрики уличных торговцев вливались истощенным паническим ревом в одуряющий зной города.

Среди сонма бездомных бродяг и бездельников был и Блакман Добрая душа; взобравшись на стол, он просил найти ему живую гадюку, чтобы тут же на себе показать чудодейственные свойства изобретенного им противоядия. Была там и женщина, превратившаяся в паука за непокорство родителям. За пятьдесят сентаво она позволяла себя трогать любому, кто желал увериться, нет ли обмана, и охотно отвечала на все вопросы, касаемые ее злосчастной судьбы. Был и посланец Вечной жизни, возвещавший о том, что скоро со звезд слетит на землю чудовищная летучая мышь, чье опаляющее серное дыхание нарушит весь порядок в природе и вынесет на поверхность воды все тайны со дна моря.

Единственной тихой заводью в городе был квартал с домами терпимости, куда докатывались лишь тлеющие угольки городской сумятицы. Женщины, прибывшие сюда из четырех квадрантов навигационной розы, зевали от скуки, слоняясь по опустев-

шим гостиным. Сидя в креслах в часы сиесты, они дремали и дремали под мерный шелест вентиляторов, и никто их не будил, чтобы заняться любовью, и беднягам только и оставалось, что ждать пришествия чудовищной звездной мыши. Внезапно одна из женщин резко встала и направилась к галерее, которая выходила на улицу и была увита лиловыми и алыми цветами на колючих стеблях. Внизу тянулась очередь к Эрендире.

— Эй, вы! — крикнула женщина. — Интересно, что, у нее иначе, чем у нас?

— У нее письмо сенатора, — отозвался кто-то из очереди. На крики и смех выскочили другие девицы.

— Который день, — сказала одна, — а очередь не убывает. По пятьдесят песо каждый, с ума сойти!

Первая, кто вышла на галерею, вдруг сказала:

— Как хотите, а я пойду посмотрю, что там из золота у этой малявки.

— И я пойду, — подхватила другая, — все лучше, чем без толку греть стулья.

За ними последовали остальные, и к шатру Эрендиры прибыла уже целая толпа разъяренных девок. Они ворвались в шатер и стали лупить подушками мужчину, который в те минуты самым наилучшим способом тратил свои кровные денежки, скинули его на пол и, взяв за ножки кровать, где лежала нагая Эрендира, вытащили ее на носилках прямо на улицу.

— Это произвол! — орала бабка. — Безродные твари! Дешевки! — А потом в сторону очереди: — На что вы годитесь, дохляки?! На ваших глазах такое

творяют над беззащитным существом... Яйца бы вам поотрезать, блядуны хреновые!

Она кричала, как оглашенная, дубася палкой всех, кто попадался под руку, но ее бешеные вопли тонули в криках и злых насмешках толпы.

Эрендира не смогла спастись от такого страшного позора — удрать не позволяла собачья цепь, которой бабка приковывала ее к кровати после неудавшегося побега. Но никто ее по дороге не мучил. Нагую Эрендиру медленно пронесли на ее алтаре под навесом по самым людным улицам, словно это аллегорическое шествие с кающейся грешницей в цепях, а потом сунули в раскаленную от зноя клетку посреди главной площади. Эрендира сжалась в комочек, спрятала в ладони сухие, без слезинки глаза и вот так лежала на самом пекле, кусая от стыда и бессильной ярости тяжелую цепь своего злосчастия, пока какая-то сердобольная душа не прикрыла ее рубашкой.

Это был один-единственный раз, когда я увидел ее воочию, но со временем узнал, что они с бабкой обретались в том пограничном городке под покровительством местных властей до тех пор, пока бабка не набила до отказа огромные сундуки. Лишь тогда старуха с внучкой покинули пустыню и двинулись к морю. Во все времена в этом царстве беспросветной нищеты никому не доводилось видеть такого скопища богатств. Нескончаемо тянулись запряженные волами повозки, на которых громоздилось пестрое барахло, как бы возрожденное из

пепла сгоревшего особняка. Вдобавок к императорским бюстам и диковинным часам везли купленный по случаю рояль и граммофон с набором душещипательных пластинок. Индейцы шли по обе стороны, охраняя все это имущество, а духовой оркестр возвещал об этом победительном шествии в каждой городке.

Бабка сидела в паланкине, увитом разноцветными бумажными гирляндами, под сенью тяжелого церковного балдахина и непрерывно жевала зерна, которыми, как всегда, была набита ее матерчатая сумка. Бабкины габариты стали еще внушительнее, потому что она надела парусиновый жилет, в карманах которого, точно в патронташе, лежали слитки золота. Рядом с ней была Эрендира в ярком нарядном платье с золотыми блестками, но по-прежнему с цепью на щиколотке.

— Тебе грех жаловаться, — сказала бабка, когда позади остался пограничный город. — Наряды у тебя — царские, постель роскошная, собственный оркестр и прислуга — четырнадцать индейцев. Это же чудо, а?

— Да, бабушка.

— Когда я уйду от тебя, — продолжала бабка, — ты не будешь жить за счет мужчин, ты купишь дом в самом главном городе. И станешь свободной и счастливой.

Это был совершенно новый и неожиданный поворот в бабкиных взглядах на будущее. Но об изначальной сумме долга бабка не заговаривала, да и все

как-то запуталось: сроки окончательной уплаты откладывались, а расчеты стали совсем мудреными. Эрендира ни единым вздохом не выдавала, что у нее на душе. Она молча сносила все постельные муки в едком тумане свайных селений, в зловонии от селитряной жижи, в лунных кратерах тальковых карьеров, а меж тем бабка без устали расписывала ее счастливое будущее, словно гадала на картах. Однажды вечером, выбираясь из мрачного ущелья, они уловили в ветре древний запах лавра, услышали обрывки ямайской речи и почувствовали жажду жизни, от которой защемило их сердца.

— Вот оно, гляди! — сказала бабка, жадно вдыхая прозрачное сияние Карибского моря, ибо полжизни провела в пустыне. — Нравится?

— Да, бабушка.

Там они и поставили шатер. Бабка проговорила всю ночь, так и не сомкнув глаз, и минутами тоска о невозвратном прошлом путалась в ее словах с видениями грядущего. Заснув наконец, она проспала дольше обычного. И проснулась, умиротворенная шумом волн. Но когда Эрендира усадила ее в ванну, бабка снова взялась пророчить, и ее истовые речи смахивали на горячечный бред.

— Ты станешь великой властительницей, — говорила, глядя на Эрендиру. — Самой знатной дамой, тебя будут боготворить твои подданные, почитать и превозносить самые высокие правители. Капитаны будут посылать тебе цветные открытки из всех портов мира.

Эрендира не слушала ее. Теплая вода, настоящая на душе, текла в ванну по желобу, проведенному с улицы. Эрендира, чуть дыша, с застывшим лицом черпала эту воду тыквенной плошкой и обливала бабкины намыленные тела.

— Слава о твоём доме будет передаваться из уст в уста от Антильских островов до Голландского королевства, — вещала старуха. — И дом твой станет могущественнее президентского дворца, потому что в стенах твоего дома будут обсуждать государственные дела и вершить судьбы нации.

В этот момент в желобке вода вдруг исчезла. Эрендира вышла из шатра посмотреть, в чём дело. И увидела, что индеец, которому положено лить воду в желоб, колет дрова возле кухни.

— Холодная вода кончилась, — сказал он, — пусть остынет эта.

Эрендира подошла к плите, где стоял большой котел с кипящими благовонными листьями. Обернув руку тряпьем, она приподняла котел и поняла, что сумеет донести его без посторонней помощи.

— Иди, — сказала она индейцу, — я сама налью.

Эрендира еле дождалась, когда индеец выйдет из кухни, потом сняла с огня котел с горячей водой, насилу подняла его и собралась было вылить кипяток в широкий желоб, как вдруг раздался бабкин голос:

— Эрендира!

Ну будто она все увидела! Внучка помертвела от страха, и в последнюю минуту ее охватило раскаяние.

— Сейчас, бабушка, — сказала она, — я стужу воду.

Той ночью девочку допоздна терзали сомнения, а бабушка, уснувшая в жилете с золотыми слитками, до рассвета распевала во сне песни. Эрендира, лежа в постели, не сводила с бабки глаз, которые в полутьме горели, как у кошки. Потом она вытянулась, словно утопленница, с открытыми глазами, скрестив руки на груди, и, собрав все свои душевные силы, беззвучным голосом позвала:

— Улисс!

Улисс внезапно проснулся в доме среди апельсиновых деревьев. Он так явственно услышал зов Эрендиры, что бросился искать ее в полутемной комнате. Но, подумав минуту-другую, быстро сложил в узел свою одежду и выскользнул за дверь. Когда он крался по террасе, его настиг отцовский голос:

— Ты куда это?

Улисс увидел отца, озаренного лунным светом.

— К людям, — ответил юноша.

— На сей раз я не стану тебе мешать, — сказал голландец, — но знай, где бы ты ни скрывался, тебя найдет отцовское проклятие.

— Ну и пусть! — сказал Улисс.

Голландец смотрел вслед удалявшемуся по лунной роще Улиссу с удивлением, даже гордясь решимостью сына, и в его взгляде промелькнула довольная улыбка. За спиной голландца стояла его жена, как умеют стоять только прекрасные индианки. Когда Улисс хлопнул калиткой, голландец сказал:

— Вернется как миленький. Жизнь его обломает, и он вернется раньше, чем ты думаешь.

— Нет в тебе ума! — вздохнула индианка. — Он никогда не вернется.

Теперь Улисс незачем было спрашивать дорогу к Эрндире. Он пересек пустыню, прячась в кузовах попутных машин. Крал что подвернется, чтобы было что есть и где спать, а нередко крал из любви к риску и в конце концов добрался до шатра, который на сей раз стоял в приморском селении, откуда были видны высокие стеклянные здания горевшего вечерними огнями города, а по ночам тишину нарушали прощальные гудки пароходов, уходивших к острову Аруба.

Эрндире, прикованная цепью к кровати, спала в той позе всплывшей утопленницы, в какой призывала юношу к себе. Улисс смотрел на нее долго, боясь разбудить, но взгляд его был таким трепетным, таким напряженным, что Эрндире проснулась. Они поцеловались в темноте и, не торопясь, с безмолвной нежностью, с затаенным счастьем ласкали друг друга, а потом, изнемогая, сбросили с себя одежды и, как никогда, были самой Любовью.

В дальнем углу шатра спящая бабка грузно перекадилась на другой бок и принялась бредить.

— Это случилось в тот год, когда приплыл греческий пароход, — сказала она, — с командой шальных матросов, которые умели делать счастливыми женщин и платили не деньгами, а морскими губками, еще живыми, и те потом ползали по домам и

стонали, точно больные в жару, и когда дети плакали от страха, пили их слезы.

Старуха вдруг приподнялась, словно кто ее тряхнул, и села на постели.

— И вот тогда пришел он. Бог мой! — вскрикнула старуха. — Он был сильнее, моложе и в постели куда лучше моего Амадиса.

Улисс, не замечавший поначалу бабкиного бреда, испугался, увидев, что она сидит на постели. Эрендира его успокоила.

— Да не бойсь! — сказала. — Бабушка всегда говорит об этом сидя, но чтоб проснуться — такого не было.

Улисс положил ей голову на плечо.

— Той ночью, когда я пела вместе с моряками, мне показалось, что разверзлась земля, — продолжала спящая бабка. — Да и все, наверно, так решили, потому что разбежались с криками, давясь от смеха, и остался он один под навесом из астромелий. Как сейчас помню — я пела песню, которую пели тогда повсюду. Ее пели даже попугаи во всех патио.

И дурным, неверным голосом, каким поют лишь во сне, бабка завела песнь своей неизбывной печали:

*Господи Боже, верни мне былую невинность,
дай насладиться его любовью, как в первый день.*

Только теперь Улисс прислушался к горестным словам старухи.

— Он явился, — говорила она, — с какаду на плече и с мушкетом, чтобы бить людоедов, как Гуатар-

раль — в Гвиану. И я услышала его роковое дыхание, когда он встал предо мной и сказал: «Я объездил весь свет и видел женщин всех стран и могу поклясться, что ты самая своенравная, самая понятливая и самая прекрасная женщина на земле».

Она снова легла и зарыдала, уткнувшись в подушку. Улисс с Эрендирой замерли в темноте, чувствуя, как их укачивает раскатистое бабкино дыхание. И вдруг Эрендира голосом твердым, без малейшей запинки, спросила:

— Ты бы решился убить ее?

Улисс, застигнутый врасплох, не знал, что сказать.

— Не знаю. А ты бы?

— Я не могу, — ответила Эрендира, — она моя бабушка.

Тогда Улисс обвел глазами огромное спящее тело, как бы прикидывая, сколько в нем жизни, и со всей решимостью проговорил:

— Ради тебя я готов на все!

Улисс купил целый фунт крысиного яда, смешал со сливками и малиновым вареньем, начинил этим гибельным кремом торт, из которого вытащил прежнюю начинку, сверху обмазал его погуще и разровнял ложечкой, чтобы не осталось следов их злодейского замысла. А затем увенчал этот обманный торт семьюдесятью двумя розовыми свечками.

При виде Улисса, вошедшего с праздничным тортом в шатер, бабка сорвалась с трона и угрожающе замахнулась епископским посохом.

— Наглец! — заорала. — Как ты смеешь являться в этот дом!

— Молю вас простить меня, — сказал он, пряча свою ненависть за ангельской улыбкой. — Ведь сегодня день вашего рождения!

Обезоруженная коварной покорностью, старуха тотчас приказала накрыть стол со всей щедростью, как для свадебного пира.

И усадила Улисса по правую руку. А Эрендира им прислуживала. Погасив свечи одним сокрушительным выдохом, бабка разрежала торт на равные кусища, первый протянула Улиссу.

— Человек, который знает, как обрести прощение, уже наполовину обретает место в раю. Вот тебе на счастье первый кусок.

— Я не очень люблю сладкое, — проговорил Улисс, — угощайтесь сами.

Следующий кусок бабушка предложила Эрендире, а та вынесла его на кухню и бросила в мусорное ведро.

Бабка сама управилась с тортом в два счета. Затапливая в рот целые куски, она заглатывала их, не прожевывая, со стоном блаженства и сквозь дымку наслаждения разнеженно глядела на Улисса. Когда ее тарелка опустела, она взялась за кусок, от которого отказался Улисс. Облизываясь, старуха собрала все крошки и кинула их в рот.

Она съела столько мышьяка, сколько хватило бы, чтобы истребить уйму крыс. Но она как ни в чем не бывало терзала рояль и пела до полуночи.

А потом улеглась и, совершенно счастливая, заснула сладким сном. Лишь в ее дыхании появился какой-то скрежет.

Улисс с Эрендирой смотрели на нее с нетерпением, ожидая смертных судорог. Но когда она начала бредить, ее голос был по-прежнему полон жизни.

— Я сошла с ума! Бог мой! Я сошла с ума! — гремела бабка. — Я закрыла от него спальню на два засова, а к дверям придвинула ночную тумбочку и стол, на который поставила все стулья. Но он едва слышно постучал перстнем — и все мои преграды рухнули: стулья сами собой встали на пол, стол и ночная тумбочка подались назад, а засовы сами собой отодвинулись.

Эрендира с Улиссом смотрели на нее с нарастающим изумлением, а бред ее тем временем становился все неистовее и голос — горестнее.

— Я думала — вот-вот умру, я была вся в поту от страха, но про себя молилась: пусть дверь откроется, не открываясь, пусть он войдет, не входя, пусть он будет со мной всегда, но больше не возвращается, потому что я убью его.

Несколько часов подряд бабка потрошила свою душу, выкладывая самые интимные подробности драмы, переживая ее заново во сне. Перед самым рассветом она повернулась на другой бок с шумом затухающего землетрясения, и голос ее сломался в безудержных рыданиях.

— Я его предупредила, а он смеялся, — надсаживала горло бабка, — я снова пригрозила, а он снова

засмеялся, потом открыл свои безумевшие глаза и успел сказать: «О, моя королева! Моя королева!» Но голос его вырвался из глотки, в которую вонзился мой нож.

Холодея от страха, Улисс схватил Эрендиру за руку.

— Убийца! — крикнул он.

Эрендира даже не глянула на него, потому что в эти минуты стало светать и часы отбили пять ударов.

— Иди! — сказала Эрендира. — Бабушка сейчас проснется.

— Да в ней жизни больше, чем у слона! — воскликнул Улисс. — Так не бывает!

Эрендира смерила его уничтожающим взглядом.

— Бывает, потому что ты даже убить не умеешь, — проговорила она.

Улисс, потрясенный такой жестокостью упрека, ушел, не сказав ни слова.

Эрендира смотрела на спящую бабушку с глухой ненавистью, с бессильной злобой, а тем временем в разливе утреннего света просыпались птицы. Бабка наконец открыла глаза и взглянула на внучку с блаженной улыбкой.

— Храни тебя Господь, детка! — сказала.

Единственной заметной переменой в ее поведении было то, что нарушился строгий распорядок жизни. В среду бабке приспичило надеть воскресный наряд, она приказала Эрендире не принимать

до одиннадцати ни одного клиента, велела покрыть себе ногти лаком гранатового цвета и сделать прическу на манер папской тиары.

— Смерть, как хочу сфотографироваться! — воскликнула старуха.

Эрендира начала расчесывать ей волосы, но не успела провести гребнем по голове, как в зубьях застрял целый пук волос. В страхе она показала его бабушке. Старуха долго изучала этот пук, потом дернула большую прядь, и та вся целиком осталась у нее в пальцах. Бабка бросила ее на пол, ухватила клоч побольше и легко выдернула его из головы. Тогда она стала обеими руками дергать волосы и, ликуя, заходясь смехом, подбрасывать вверх, пока ее голова не стала похожа на очищенный кокосовый орех.

Об Улиссе не было ни слуху ни духу целых две недели, и лишь на пятнадцатый день снаружи призывно крикнула сова. Бабка, терзавшая рояль, так глубоко погрузилась в свою тоску, что не замечала ничего вокруг. На голове ее красовался парик из ярких перьев.

Эрендира поспешила к дверям, но вдруг заметила бикфордов шнур, который выползал из-под крышки рояля и уходил к густым зарослям кустарника, теряясь во тьме. Эрендира бросилась к Улиссе, спряталась с ним в кустах, и оба с замиранием сердца стали смотреть, как по шнуру к детонатору пополз синий огонек, просквозил темноту и проник в шатер.

— Закрой уши! — крикнул Улисс.

Они оба заткнули уши, но зря, потому что не было никакого грохота. Шатер осветился изнутри от бесшумного взрыва и исчез в густых клубах дыма, который повалил от подмоченного пороха. Когда Эрендира осмелилась войти внутрь в надежде обнаружить мертвую бабушку, она увидела, что жизни в ней хоть отбавляй: старуха в изорванной клочьями рубашке и обгорелом парике носилась туда-сюда, забивая огонь одеялом.

Улисс вовремя улизнул, воспользовавшись общей суматохой среди индейцев, совершенно одуревших от противоречивых приказов старухи. Когда они справились наконец с огнем и рассеяли дым, пред всеми предстала картина истинного бедствия.

— Тут чьи-то козни, — сказала бабка, — сами по себе рояли не взрываются.

Она пустила в ход всю свою хитрость, чтобы дознаться о причинах нового пожара, но старуху сбивали с толку уклончивые ответы Эрендиры и ее невозмутимый вид. Она не обнаружила ни малейшей подозрительной черточки в поведении внучки и хоть бы раз вспомнила о существовании Улисса. До самого рассвета она нанизывала одну догадку на другую и подсчитывала убытки. Потом подремала какую-то малость, но плохо, беспокойно. Наутро Эрендира сняла с нее жилет с золотыми слитками и увидела на ее плечах огромные волдыри, а на груди — живое мясо.

— Еще бы! Ведь я не спала, а ворочалась с боку на бок! — сказала бабка, когда внучка смазывала

ожоги взбитыми белками. — Да и сон видела какой-то чудной. — Огромным напряжением воли бабка сосредоточилась, вызывая в памяти этот сон, и наконец увидела все, как наяву. — В белом гамаке лежал павлин!

Эрендира обомлела, но сдержала страх, и лицо ее не дрогнуло.

— Это добрый знак, — солгала, — павлины к долгой жизни.

— Услышь тебя Господь, детка! — сказала старуха. — Потому что нам все начинать сызнова, как в прошлый раз.

Эрендира оставалась бесстрашной. Она вымазала взбитыми белками бабку по шею, покрыла ее голый череп густым слоем горчицы и вышла во двор. Взбивая новые белки под пальмовым навесом кухни, Эрендира наткнулась взглядом на глаза Улисса, который смотрел на нее из-за плиты точь-в-точь как в первый раз из-за спинки кровати. Она не удивилась, нет, а лишь сказала усталым голосом:

— Ты только и добился, что увеличил мой долг.

Глаза Улисса помутнели от боли. Не шелохнувшись, он смотрел, как Эрендира бьет яйцо за яйцом с застывшим на лице презрением, будто его тут нет. Глаза Улисса метнулись, оглядели разом все, что было на кухне, — развешанные кастрюли, связки чеснока, столовую посуду и большой кухонный нож. Не говоря ни слова, Улисс поднялся, решительно шагнул под навес и схватил этот нож.

Эрендира даже не обернулась, но, когда он выбежал из кухни, сказала вдогонку еле слышно:

— Берегись, ей была весть о скорой смерти. Она видела во сне павлина в белом гамаке.

Бабка, увидев в дверях Улисса с ножом, сделала нечеловеческое усилие и поднялась сама, без своей палки.

— Сынок! — заорала. — Ты рехнулся!

Улисс бросился на нее и нанес удар ножом прямо в грудь, вымазанную белками. Бабка со стоном подмяла Улисса под себя, пытаясь задушить своими огромными ручищами.

— Ах ты выродок! — задыхалась она. — Поздно я поняла, что ты злодей с ангельским ликом.

Больше она ничего не могла сказать, потому что Улисс, высвободив руку, всадил нож в ее бок. Исходя стоном, старуха еще яростнее набросилась на своего насильника. Улисс нанес ей третий удар, и тугая струя крови брызнула ему в лицо. Кровь была маслянистая, липкая и зеленая, как мятный мед.

Эрендира застыла с тазиком у входа, с преступным хладнокровием наблюдая за схваткой.

Огромная старуха каменной глыбой обрушилась на Улисса, рыча от боли и ярости. Ее руки, ноги, даже голый череп — все было в зеленой крови. Могучее, словно накачиваемое поршнем бабкино дыхание, уже нарушенное предсмертными хрипами, заполнило все вокруг. Улиссу снова удалось высвободить руку, и он пырнул бабку в живот с такой силой, что хлынувшая зеленая кровь залила его с ног до головы. Бабка, хватая ртом воздух, рухнула нич-

ком. Улисс сбросил ее безжизненные руки и торопливо пырнул распростертое тело в последний раз.

Вот тут Эрендира поставила тазик на стол, склонилась над бабкой — опасливо, боясь прикоснуться, и, когда окончательно уверилась, что бабушка мертва, ее детское личико разом отвердело и обрело ту зрелость взрослого человека, какую не могли ей дать все двадцать лет страдальной жизни. Быстрыми и хваткими пальцами она сняла с бабки жилет с золотом и выскочила из шатра.

Улисс сидел возле трупa совершенно обессиленный, и чем упорнее старался оттереть свое лицо, тем сильнее оно покрывалось зеленой жижей, как бы вытекающей из его пальцев. Он опомнился, когда увидел уходящую от него Эрендиру с золотым жилетом в руках.

Улисс звал ее, надрываясь криком, но не услышал ответа. Тогда он подполз к дверям и увидел, что Эрендира бежит берегом моря в другую сторону от города. Напрягая последние силы, он пустился ей вдогонку с душераздирающим воплем, но то был вопль не любовника, а брошенного ребенка. Вскоре его свалила страшная усталость, ибо он сам, безо всякой подмоги, убил женщину. Бабкины индейцы настигли его на берегу, где он лежал ничком, плача от одиночества и страха.

Эрендира ничего не слышала. Она неслась против ветра быстрее лани, и ни один голос на свете не смог бы ее остановить. Она пробежала без оглядки сквозь обжигающий жар селитряных луж, сквозь

пыль тальковых котловин, сквозь дурманную хмарь свайных селений, пока не осталось ни одной живой приметы моря и не вступила в свои права пустыня. Но Эрендира, прижав к груди слитки золота, бежала и бежала, оставляя позади и сухие ветры, и неизбежные сумерки.

И с тех пор никто никогда не слышал о ней и не встретил самого малого следа ее злосчастия.

Содержание

Старый-престарый сеньор с преогромными крыльями. <i>Перевод А. Борисовой</i>	5
Море исчезающих времен. <i>Перевод А. Борисовой</i> ...	16
Самый красивый утопленник в мире. <i>Перевод Ю. Грейдинга</i>	42
Постоянство смерти и любовь. <i>Перевод Ю. Грейдинга</i>	51
Последнее плавание корабля-призрака. <i>Перевод Ю. Грейдинга</i>	63
Блакаман Добрый, продавец чудес. <i>Перевод Ю. Грейдинга</i>	71
Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердой бабушке. <i>Перевод Э. Брагинской</i>	85

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 
КАЖДАЯ ПЯТАЯ КНИГА РОССИИ

**ПРИБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»
или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве
и ближайшему Подмосковию:
Тел./факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете
на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Информация по оптовым закупкам:
(495) 615-01-01, факс 615-51-10

E-mail: zakaz@ast.ru

МЫ ИЗДАЕМ  НАСТОЯЩИЕ КНИГИ

В Москве:

- м. «Алтуфьево», ТРЦ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж, т. (495) 988-51-28
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
- м. «ВДНХ», ТЦ «Золотой Вавилон — Ростокино», пр-т Мира, д. 211, т. (495) 665-13-64
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (499) 306-18-98
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, к. 1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15/1, т. (499) 977-74-44
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Шарицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, к. 1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Люберцы, ТЦ «Светофор», ул. Побратимов, д. 7, 4 этаж, т. (498) 602-82-65

В регионах:

- г. Владимир, ул. Дворянская, д.10, т. (4922) 42-06-59
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 66-24-64
- г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, ТЦ «Красная площадь», 3 этаж, т. (861) 210-41-60
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ул. Революции, д. 13, 3 этаж, ТЦ «Семья» т. (342) 238-69-72
- г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», 1 этаж, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж, т. (4912) 95-72-11
- г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТК «Измайловский», 1 этаж, т. (812) 325-09-30
- г. Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТЦ «Космопорт», 1 этаж, т. 8-937-202-65-09
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-67
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (347) 293-62-88
- г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105а, ТЦ «Мега Молл», 0 этаж, т.(8352) 28-12-59
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18 , т. (4852) 30-47-51

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой» или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковию:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, 232-17-06,
445-51-10, book@ast.ru

ПРИБОРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **Буква**

МОСКВА:

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр.1, т. (495) 323-19-05
- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-57-56
- м. «Алтуфьево», ТРЦ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж, т. (495) 988-51-28
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, ТЦ «Александр», 0 этаж, т. (499) 206-92-65
- м. «ВДНХ», ТЦ «Золотой Вавилон - Ростокино», пр-т Мира, д. 211, т. (495) 665-13-64
- м. «ВДНХ», г. Мытиши, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «XL-2», 3 этаж, т. (495) 641-22-89
- м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, ТЦ «Домодедовский», 3 этаж, т. (495) 983-03-54
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, к. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», 2 этаж, т. (495) 258-36-14
- м. «Марксистская/Таганская», Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, т. (495) 911-21-07
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (499) 306-18-98
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «XL», Дмитровское ш., д. 89, 2 этаж, т. (495) 783-97-08
- м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, ТЦ «Пражский Пассаж», 2 этаж, т. (495) 721-82-34
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д.76, к.1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, вл.1, ТРЦ «Принц Плаза», 4 этаж, т. (495) 987-14-73
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15/1, т. (499) 977-74-44
- м. «Третьяковская», ул. Большая Ордынка, вл.23, пав. 17, т. (495) 959-40-00
- м. «Тульская», ул. Большая Тульская, д.13, ТЦ «Ереван Плаза», 3 этаж, т. (495) 542-55-38
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к.1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- м. «Юго-Западная», Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ «Столица», 3 этаж, т. (495) 787-04-25
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д.5, к.1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, д.9, ТЦ «Эдельвейс», 1 этаж, т. (498) 664-46-35
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, ТЦ «Дарья», 2 этаж, т. (496) (24) 6-55-57
- М.О., г. Коломна, Советская пл., д. 3, ТД «Дом торговли», 1 этаж, т. (496) (61) 50-3-22
- М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32а, ТРЦ «Счастливая семья», 2 этаж
- М.О., г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТРЦ «Поворот»

Регионы:

- г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 64-00-95
- г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 5а, т. (8512) 44-04-08
- г. Белгород, Народный б-р, д. 82, ТЦ «Пассаж», 1 этаж, т.(4722) 32-53-26
- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58, ТЦ «Утюжок», т. (4732) 51-28-94
- г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, ТРЦ «Серебряный город», 3 этаж, т. (4932) 93-11-11 доб. 20-03
- г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 3а, ТРЦ «Столица», 2 этаж, т. (3412) 90-38-31
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж, т. (343) 253-64-10
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д.18, т. (4012) 66-24-64
- г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, ТЦ «Галерея», 2 этаж, т. (861) 278-80-62
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Курск, ул. Ленина, д. 31, ТРЦ «Пушкинский», 4 этаж, т. (4712) 73-45-30
- г. Курск, ул. Ленина, д.11, т. (4712) 70-18-42
- г. Липецк, угол Коммунальная пл., д. 3 и ул. Первомайская, д. 57, т. (4742) 22-27-16
- г. Орел, ул. Ленина, д. 37, т. (4862) 76-47-20
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 31, т. (3532) 31-48-06
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ул. Революции, д. 13, 3 этаж, ТЦ «Семья», т. (342) 238-69-72
- г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», 1 этаж, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж, т. (4912) 95-72-11
- г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТК «Измайловский», 1 этаж, т. (812) 325-09-30
- г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 98, т. (8652) 26-16-87
- г. Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-37-48
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 44, ТРЦ «Гудвин», 2 этаж, т. (3452) 79-05-13
- г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (347) 293-62-88
- г. Чебоксары, ул. Калинина, д.105а, ТЦ «Мега Молл», 0 этаж, т. (8352) 28-12-59
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18, т. (4852) 30-47-51
- г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»
или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковию:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, 232-17-06
факс 615-51-10
E-mail: zakaz@ast.ru

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Гарсиа Маркес Габриэль
**Невероятная и грустная история о простодушной
Эрендире и ее жестокосердной бабушке**

Рассказы

Компьютерная верстка: В.Е. Кудымов
Технический редактор Т.В. Полонская

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

ООО «Издательство «Астрель»
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

Издание осуществлено при техническом участии
ООО «Издательство АСТ»

Типография ООО «Полиграфиздат»
144003, г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна, д. 25



Габриэль Гарсиа Маркес

Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке

Рассказы этого сборника относятся к «зрелому» периоду творчества великого латиноамериканского писателя, когда он уже достиг совершенства в прославившем его и ставшем его своеобразной «визитной карточкой» стиле магического реализма.

Магия или гротеск могут быть забавными – или пугающими, сюжеты – увлекательными или весьма условными.

Но чудесное или чудовищное неизменно становится частью реальности – таковы заданные писателем правила игры, которым с наслаждением следует читатель.

www.ast.ru
www.elkniga.ru

ISBN 978-5-271-39855-1



9 785271 398551